



# НОВАЯ ПОЛЬША 7-8/2001

## Содержание

1. РОССИЯ
2. ПОГОНЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
3. ПУТЕШЕСТВИЕ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА ИЗ ВАРШАВЫ В ПЕТЕРБУРГ
4. ВИТКАЦИЙ
5. АЗИАТЫ
6. РАССКАЗЫ СОЛЖЕНИЦЫНА ПО-ПОЛЬСКИ
7. ДВЕ-ТРИ ФРАЗЫ
8. О СПРАВЕДЛИВОСТИ
9. ЕДВАБНЕ ИЛИ СОТРЯСЕНИЕ СОВЕСТИ

# РОССИЯ

Не вижу смысла прикидываться белой вороной и скрывать болезнь, гложущую любого поляка; наоборот, ее нужно признать и привыкнуть, в конце концов, обходиться с ней по возможности беспристрастно. Итак, поляки и русские друг друга не любят. Точней, испытывают друг к другу самые разные неприязненные чувства, от презрения до ненависти, что, впрочем, не исключает какой-то непонятной взаимной тяги, всегда тем не менее, окрашенной недоверием. Между ними стоит – воспользуюсь словами Джозефа Конрада – *incompatibility of temper*. Может быть, любой народ, если смотреть на него как на единое целое, а не сообщество личностей, способен лишь оттолкнуть, и соседи узнают на его примере одну только неприятную правду о людях? Полякам, не исключая, известно о русских то, о чем те и сами подозревают, но не хотят себе в этом признаться, — и наоборот. Поэтому неприязнь к полякам у националиста Достоевского — что-то вроде самообороны. Уважительно он отзывается о них только в „Записках из Мертвого дома”, хотя и здесь сотоварищи по каторге, бронированные католичеством и патриотизмом, на каждом шагу подчеркивающие свою чужеродность, если не прямое превосходство над прочими, не пробуждают в нем теплых чувств. Похоже, каждое столкновение с русскими полякам в тягость и настраивает их на самозащиту, поскольку разоблачает перед самими собой.

Описать запутанные истоки распри так же труд но, как причины застарелой вражды двух семейств, испокон веку живущих на одной улице; они могли бы показаться чем-то сугубо местным и провинциальным, не скрывайся за ними начатки событий мирового масштаба. Россия сумела стать такой, какой стала, только упразднив граничившую на юге с Турцией польско-литовскую республику (...)

Обычно говорят, что поляки недоброжелательны к русским, помня о пережитых обидах. Отчасти это так. И корни здесь уходят куда глубже двух последних веков, а любые перемены в Европе свидетельствуют: при любых внешних сдвигах основа остается прежней. Ее не коснулись ни революция во Франции, ни октябрьский переворот в России, ни послевоенный приход к власти коммунистов в Польше. Может быть, каждая цивилизация несет отпечаток того периода, который был для

нас ключевым. Франция обязана всем своему городскому сословию — силе созидательной и мощной уже за два столетия до Революции. А в Польше в эту эпоху складывалась дворянская культура, и польский крестьянин или рабочий по сей день колют ею глаза русскому, сплошь и рядом неся на себе ее следы, почему и получают от него злорадную кличку „пана”.

Начало всему — шестнадцатый и семнадцатый века, Сейчас трудно себе даже представить, что польский язык — язык господ, к тому же господ просвещенных — олицетворял изысканность и вкус на востоке до самого Полоцка и Киева. Московия была землей варваров, с которыми — как с татарвой — вели на окраинах войны, но которыми особенно не интересовались: в тогдашней польской словесности чаще встретишь портрет венгра, немца, француза или итальянца, нежели упоминание о подданных русского царя, У этих последних авторы отмечают непостижимую покорность произволу властей, склонность нарушать данное слово, коварство и высмеивают дикость их обычаев (так французам казались дикими обычаи Сарматии). И движение идей, и колонизация лесостепной зоны шли с запада на восток. Все ценное — образцы ремесла, архитектуры и письменности, спора гуманизма и Реформации — приходило в Польшу из Фландрии, Германии, Италии. Если какие заимствования с востока и были, то — через посредство Великого торгового пути — лишь из турецких земель, особенно по всем, что касалось сбруи, упряжи и соответствующего словаря. Московия же той поры, понемногу превращалась в Россию, при всем ее большем или меньшем могуществе не представляла собой для поляков ничего привлекательного. Оставившие в польской культуре несводимый отпечаток XVI и XVII столетия для России наступили лишь в XIX веке. Из этого ощущения пустынной полосы со стороны востока у поляков сложился образ России как чего-то запредельного, находящегося за краем света. Свое поражение в войне поляки встретили недоуменно, как восприняли бы, наверно, победу татар: если в ней и крылся какой-то смысл, то разве что наказания за грехи. (...)

Побежденные презирали победителей, не видя в них ни малейших достоинств, кроме слепого послушания приказу. А оно раздражало. Закрадывалась мысль: да, вы сильны, но какой ценою? Напомню, что между русскими и польскими писателями, — как правило, эмигрантами, жившими в Париже, — не умолкал спор, в котором ни одна из сторон не щадила другую. Антипольские стихи Пушкина дышат гневом на безумную гордыню побежденных, не признающих, что проиграл и бесповоротно, а все еще мечтающих о возмездии,

хитрящих и настраивающих дипломатические канцелярии Европы против России. В конце концов, в этих строках нет ничего, кроме проклятий народу, который пытается отстоять свою независимость. В них еще жива память о давнем соперничестве: существование самостоятельной Польши снова поставило бы в повестку дня вопрос, кому должны отойти Полоцк и Киев, иначе говоря, — быть или не быть Российской Империи. Не зря Пушкин предсказывает, что „славянские ручьи сольются в русском море”.

Моральная ситуация польского поэта, революционера и союзника итальянских карбонариев, была, понятно, не в пример лучше, чем у его собрата по перу (и товарища, пока их не развела политика), наполовину узника царского двора. Жестокий антироссийский памфлет Мицкевича, написанный стихами, до сего дня образцовыми по лаконизму, попадает точно в цель как раз потому, что ненависть к самодержавию соединяется здесь с сочувствием к его жертве — народу России. Увиденное польским поэтом по сути, не расходится с гоголевскими сатирами, хотя есть тут и нечто новое: все-таки на страну смотрит иностранец, чьи привязанности не смягчают критического взгляда. Его приводит в ужас бесчеловечность этих просторов, бесчеловечность отношений между людьми, пассивность и апатия подданных. И сам населяющий эту страну народ пугает его, как бесформенная глыба, которой еще не коснулся искусный резец истории (...)

Традициям ли благодаря, католическому кодексу морали или принадлежности к Западу, но поляки так или иначе чувствовали свое превосходство. Их бесило какое-то оловянное спокойствие в глубине русского характера, долготерпение русских, их упрямство, их чуждое людям обдуманного компромисса стремление к крайностям, отчего и память о понесенном разгроме была особенно унижительной. А для русских польская привычка к условным реверансам, улыбкам, вежливости и лести выглядела пустой формальностью и потому отдавала фальшью. Они, со своей стороны, пестовали в себе чувство превосходства над легковесными, неглубокими, мотыльковыми поляками с их раздражительным гонором и тягой к самосожженчеству в героическом и бессмысленном порыве. Достаточно пронизательные, чтобы не пугать мучимую отсталостью от Запада, более старую культурную формацию с нечистой совестью прихлебателей самодержавия, они вполне отдавали себе отчет в том, почему в польском воздухе носится так и не брошенное по их адресу слово „варвары”. Их возбуждало именно то, что отталкивало:

поэтичность, ирония, легкое отношение к жизни, латинский церковный обряд. (...)

Именно наполеоновская легенда окончательно кристаллизовала политические установки поляков, всегда принимавших за аксиому, будто свобода — это „веяние Запада”. Позже, надеясь свергнуть царей и тиранов, они ставили на демократическую революцию. Но революции гасли без видимых результатов, а Крымскую войну даже при желании не удалось бы выдать за крестовый поход.

На протяжении всего девятнадцатого века в поляках укреплялось что-то вроде „комплекса Кассандры”. Если исключить минутные, всегда несколько риторические приступы гнева и оставить в стороне двух таких ярких русофобов среди пишущей братии, как Карл Маркс и маркиз де Кюстин, то поляки постоянно сталкивались с непостижимой для них любовью западноевропейцев к России, и к ее символу — власти русского царя. Сколько они ни кричали, что на просторах Евразии зреют гигантские амбиции и гигантские возможности, союзники, вежливо выслушав все это, отравлялись за сведениями о неблагонадежных элементах в российское посольство. Поэтому чувства Поляков к Западу всегда оставались но меньшей мере двусмысленными, а то и втайне злорадными.

Казалось, борьба с царизмом должна была породнить польских и русских революционеров. Но, чтобы там ни толковали учебники, прочный союз между этими одинаково готовыми пожертвовать собой и одинаково образованными (поскольку принадлежали и там, и здесь к просвещенным классам) людьми затруднялся той же *incompatibility of temper*, иными словами — различием исторических формаций. Даже самые радикальные поляки опирались на богатейшие внутренние ресурсы, любя собственное прошлое и потому — зачастую бессознательно — видя в революции не начало чего-то, нигде и никогда не существовавшего в помине, а средство распространить на всех давние парламентские привилегии дворянства. Если революция несла с собой справедливость, то в первую очередь ей предстояло упразднить господство одних народов над другими, восстановив тем самым нарушенную преемственность государственного существования. Стремление реформировать общество всегда шло у нас рука об руку со стремлением к независимости, но поскольку это последнее объединяло (пусть не во всем) и постепенцев, и консерваторов, то острота наиболее радикальных программ притуплялась. Другое дело — русские революционеры: их в ту

пору занимало совсем иное. О своем суверенном — да еще как! — государстве они могли думать лишь с горечью. Ничто — ни первейшая опора трона, религия, ни прежние органические устои, которых они не любили, видя в них только цени и всевластие царей, — не сдерживало их мечтаний. Поэтому они и обращались исключительно к будущему, ставя целью смести все и начать на земле, обращенной в *tabula rasa*, строить наново. Движение нигилистов, со всеми его неисчислимыми последствиями, не коснулось Польши. И даже когда революционеры обоих народов приходили вроде бы к полному взаимопониманию, им так и не удавалось забыть о яблоке раздора — Белоруссии и Украине. Упрекая своих польских соратников в том, что они идут по пути Речи Посполитой, постепенно полонизировавшей эти края, поддерживая униатскую или грекокатолическую церковь, русские говорили правду. Но правы были и поляки, упрекая теперь уже своих русских сотоварищей в замыслах русифицировать земли, языком официальных бумаг называемые — как единственно возможное и само собой разумеющееся — Западной Россией. А поскольку обе стороны признавали тамошние языки всего лишь местными диалектами, то все то дело о *no man's land* окончательно тонуло в зыбкости и тумане.

В начале века иные наши марксисты, увидев, что национальное чувство гасит революционные порывы и ведет к классовому миру, объявили задачей номер один переворот в масштабах всей империи и подняли голос против движения за независимость. Эта ошибка Розы Люксембург дорого обошлась ее приверженцам и наследникам. Представьте себе сегодня призыв к революции в Африке с условием, что она останется частью Франции. Социалисты „независимцы” — и среди них Пилсудский — естественно, взяли верх. Из-за безвластия своего восточного соседа Польша вышла из Первой мировой войны независимой, а война между ней и Советской Россией в 1920 году стала народной, получив поддержку польских рабочих и крестьян. (...)

Маркс, нравится нам это теперь или нет, рассуждал о „европейской цивилизации” и делил народы на „плохие” и „хорошие”. На восточных окраинах той цивилизации он помещал три народа, к которым относился с симпатией, видя в них созидателей и приверженцев свободы, — поляков, венгров и сербов. Панславизма он не переносил и — за двумя перечисленными исключениями — питал явную антипатию к славянам, всегда готовым, как он не раз говорил, служить слепым орудием тирании. Именно поэтому его статьи о международной политике производят на польских читателей

действие необычайное; их мог бы написать поляк XIX века. Насколько точны оказались его тогдашние предсказания, можно убедиться и сегодня. Среди всех народов мира истинная и взаимная приязнь связывает поляков только с венграми и сербами.

Для моего поколения вес эти, уже ставшие прошлым, сложности казались туманными и далекими. Мы росли в обычном государстве, чьи блеск и нищета оставались его внутренним делом, поскольку все так или иначе решалось в Варшаве, а не где-нибудь еще. Муки, заговоры, ссылка в Сибирь поминались в учебниках и, конечно же, вызывали сочувствие, но разум подталкивал нас относиться к романтическому пафосу прошлого с известной улыбкой. Россия в мыслях присутствовала, но как-то смутно. В конце концов, спор был закончен, нас разделяли пограничные столбы, а на страже стоял запрет вдумываться, исключена ли у нас, их система. Марксизм, революция и прочее были их и только их делом. У себя пусть творят все, что заблагорассудится, нас это не трогает. Легко теперь назвать эту точку зрения глупостью, Но в ту пору она была общепринятой, а запретный порог — реальным, и всякий политик, не принявший их в расчет, совершил бы грубейшую ошибку.

В краю, зажатом между Германией и Россией, эмоциональные детерминанты складывались везде по-разному. В северо-западных и южных областях, по-прежнему числившихся в составе прусской и австрийской империй, такой детерминантой оставалась и первую очередь опора на традиционный немецкий „Drang nach Osten”. Кроме чудовищного мифа об ордене крестоносцев, немцы не имели ко мне ни малейшего касательства, языка их я не знал; при всем том армия кайзера Вильгельма не оставила по себе особенно неприятных воспоминаний в наших краях. Крутя, как многие мои соотечественники, пальцем у виска при виде крепнущего гитлеризма, я глубоко переживал скорее уж драму эпохи в целом, чем задумывался над ролью в ней этих неотличимых друг от друга марсиан. Политику я зашифровывал в космических образах. А Россия была, на первый (и только на первый!) взгляд, совершенно конкретна: памятные с детства хаос и безмерность, но прежде всего — язык. За столом в нашем бедном и темном (как я теперь понимаю) доме русский был языком юмора именно потому, что его волнующе-брутальные оттенки никакому переводу не поддавались. В переводе такой, к примеру, отрывок из Щедрина, где два сановника осыпают друг друга бранью посреди веселящегося простонародья: „И ругались так ужасно, что восторженные босяки ежеминутно

кричали "ура", — попросту терял смысл. Главное, что через язык, притягивающий поляков и высвобождающий в них славянскую половину души, они интуитивно прикасались к самой сути русского: в языке было все, чему вообще стоило учиться у России. Но притягивал и вместе с тем настораживал он их — в этом, вероятно, и состоял урок — именно своей многозначностью. Нужно было втянуть воздух и нутряным басом выдохнуть: „Вырыта заступом яма глубокая”, — чтобы следом, беглым тенорком, прощепетать то же по-польски: „Wykorana szpadlem jama głęboka”. Ритмический рисунок ударных и безударных и первом случае выражал понурость, мрачность и силу, во втором — легкость, свети слабость. Иначе говоря, с языком учились самоиронии и вместе с тем осмотрительности.

Однако понимание опасности мои сверстники перекладывали на других, а политический тупик, уже окрашивавший и мысль, и слово, старались так или иначе замаскировать. Им не приходило в голову, что отправленный в музей мартиролог вдруг придется начинать сызнава. А у меня если и было предчувствие катастрофы, то самое общее, в масштабе планеты и уж никак не страны. Это, кстати, должно было рано или поздно привести меня еще к одному конфликту с окружающими, Большинство поляков уже в первый месяц Второй мировой войны предпочло одним прыжком вернуться к старому и опереться на привычные шаблоны. Двадцать лет государственного суверенитета — срок слишком короткий, и нажитые за эти годы привычки стерлись, как пыльца с мотыльковых крылышек — и один миг. Действовало и сходство ситуаций: раздел страны между двумя врагами, тюрьмы, депортация, Сибирь, ставка на Францию и Англию, польские легионы на Западе. Политические идеи эмиграции сложились из тех же шаблонов. Освобождения ждали от разгрома и Германии, и России, поскольку так было в Первую мировую. Однако, как справедливо замечено, история однократна, а повторяясь, — перемешивает трагедию с кровавым гротеском, Многие из нас, созревших мыслью в условиях, когда народные порывы могли вызвать разве что скептическую усмешку, пережили за годы войны нестерпимый внутренний раскол: чудовищно тяжело признаваться себе, что и умом, и глазами видишь все ту же фальшь застарелых штампов, когда этими штампами охвачены миллионы утоптаных в грязь и казнимых катами людей. (...)

В польской литературе не найдешь таких героев, как Алеша или князь Мышкин, стоящих перед дилеммой: или все в мире благо, или все — зло — как не встретишь и отчаянного метания



„лишних людей”, жаждущих высшей Цели, Бога, и почти на сто лет вперед предсказавших России революцию с ее абсолютизмом целей. Ключевое, не меньше „Фауста” в Германии ценное произведение польской словесности построено на прометеевом бунте против Бога во имя солидарности с угнетенным человеком (тягчайшее обвинение здесь: „И не Творец небесный ты, а - ... Царь”). Но бунт этот осложнен христианским послушанием и вместе с тем политическим действием во имя жизни людей (русский бы, наверное, выбрал или послушание и святость или действие). Если взглядеться, заоблачный польский романтизм со всей его тоской куда ближе к земле, куда скромней, чем русский реализм, приправленный непомерной жаждой. И хотя я вынес из школы вполне ощутимые начатки раздвоенности, которые, думаю, и позволяли мне лучше других понимать русское, они уравнивались другими влияниями: обозначу их заглавием одной книги XVI века (мы проходили ее по программе) — „De Republica emendanda”. Важной оказалась и привязанность к литовцам. Сравнивая их с поляками, я признавал превосходство литовской основательности и хозяйственности. Их взаимоподдержку и взаимовыручку могла бы взять за образец вся Европа. Материю, какую ни на есть, со счетов не сбросишь — по крайней мере, я этого делать не собирался.

Прав я или нет, не стану скрывать и самый спой главный комплекс. „Глубина” русской литературы всегда казалась мне подозрительной. Не слишком ли велика ее цена? Разве, выбирая из двух зол, мы бы не предпочли что-нибудь „попроще”, будь за этим как надо отстроенные дома, сытые и ухоженные люди? И чего стоит мощь, если всегдашний ее источник — опять лишь столичная власть, а тем временем в забытом Богом провинциальном городке снова и снова разыгрывается сюжет гоголевского „Ревизора”? Именно через Польшу времен моей юности проходила граница, отделявшая области, которыми некогда управляли Пруссия и Австрия, от тех, куда свидетельство своих управленческих талантов вложили русские. Империя была по обе стороны. Но мечтая начать с *tabula rasa*, русские революционеры лгали самим себе. Утвердившись в Кремле, они могли строить лишь из того „материала” людей, обычаев и привычек, который имели под рукой. И, что еще хуже, сами были слеплены из того же материала. Советские историки твердят, будто Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина II были их „предшественниками”, трудясь на благо будущей революции. И хоть подобные представления о предшественничестве могут вызвать только смех, они немало говорят о культуре силы, сметающей любые

преграды приказом с единого престола, этой точки наивысшего контроля надо всем, — и о полнейшем пренебрежении к естественному росту.

В моем отношении к России — начало позднейших недоразумений между мной и моими французскими и американскими друзьями. Они, случалось, обвиняли меня и национализме, хотя прекрасно видели, что я не делю людей на лучших и худших ни по языку, ни по цвету кожи, ни по вероисповеданию и считаю коллективную ответственность разновидностью преступления. При этом их удивляла моя симпатия к каждому русскому по отдельности, моя предрасположенность и его пользу. Все вместе складывалось в какое-то непонятное для них целое. К сожалению, вынужден признать, что у меня нет языка, способного раз и навсегда отграничить одно от другого. И этот недостаток терминов — не только мой грех. В паническом страхе перед бреднями националистов и расистов XX век пытается засыпать разверзшуюся пропасть времен цифрами произведенной продукции или титулатурой нескольких государственно-политических систем, отказываясь вникать в тончайшую ткань реальных явлений, где нельзя упустить ни единой нити. Среди таких явлений и взгляды всеми забытых старых русских сект. Это только кажется, что прошлое канет без следа. По сути, оно незаметно преобразуется, и такие вроде бы далекие реалии, как уклад жизни и Древнем Риме, продолжают жить и сегодня, поскольку именно там и больше нигде сложились формы будущего католицизма. (...)

Некоторые афоризмы о взаимоотношениях двух наших стран и сегодня поражают какой-то, не ухватываемой рассудком правдой. К примеру, русский писатель Дмитрий Мережковский говорил одному из своих польских собеседников так: „Россия — это женщина, у которой никогда не было мужа. Ее только насильовали — татары, пари, большевики. Единственным мужем ей могла бы стать Польша. Но Польша была слишком слаба”. Если кому-то трудно задуматься над справедливостью или несправедливостью этих слов, тогда, может быть, он хотя бы узнает в них некоторые следы старых и, право же, не во new глупых людских верований?

# ПОГОНЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

В «Свидетельстве поэзии», сборнике лекций о «неприятностях нашего века», Чеслав Милош писал:

«Существует некая логика современного искусства — в поэзии, живописи, музыке, и это логика неустанного движения. Мы выброшены за орбиту улаженного условностями языка и осуждены производить опасные опыты, но тем самым мы остаемся верны определению поэзии как “страстной погони за действительностью”. Именно ослабление веры в действительность, существующую объективно, вне нашего восприятия, выглядит одной из причин уныния современной поэзии, которая из-за этого ощущает как бы утрату своего права на существование».

В том же томе Милош противопоставляет себя классицизму, определяя его как формальную «отделку», неплодотворную как познавательно, так и артистически, — для многих читателей Милоша, привыкших воспринимать его творчество как «классицистическое», это может оказаться неожиданностью.

Однако это вовсе не неожиданность. Еще в 60-е годы поэт подвергал сомнению художественную эффективность формального «совершенства», причем, вероятно, стоит отметить, что в этом он находил общий язык с Виславой Шимборской, которая в стихотворении «Луковица», говоря о материи человеческого опыта, подчеркивала:

У нас — жиры, нервы, жилы,  
слизи и секреты.

И нам отказано

в идиотизме совершенства.

(Перевод, как и везде далее,  
дословный)

Так и Милош вступает в спор с идеалом поэзии, опирающийся на классицистические формулировки. Уже в заглавии

стихотворения «Ars poetica?» он ставит под подозрение это классицистическое совершенство, чтобы признаться:

Я всегда тосковал по более вместительной форме,  
которая не была бы ни слишком поэзией, ни слишком  
прозой  
и позволила бы понимать друг друга, никого не  
подвергая,  
ни автора, ни читателя, мукам высшего разряда.

К этой мысли он возвращается в предисловии к сборнику «Необъятая земля»: «Почему не включить в одну книгу сентенции, записанные при чтении разных писателей, раз они нас поразили как верные, свои стихи, переводы из других поэтов, заметки прозой и даже письма от друзей, если они касаются тревожащих нас вопросов? Так я и поступил в книге, которую здесь представляю, — поступил в поисках, как я когда-то это назвал, “более вместительной формы”».

Так поэтическая речь становится открытой, поглощает и тем самым претворяет все новые формы в стремлении избавить стихи от ограничений «литературности». Смысл такого шага объяснен в словах из стихотворения «Отчет»: «Из химеры рождается поэзия и признается в своем изъяне».

О каком изъяне здесь говорится? В «Саду наук» мы читаем интересные замечания о слабости польского языка: «Каждый язык носит зародыш ему только присущих болезней, и каждому угрожает свое. Из славянских языков польский рано, сразу после чешского, обрел литературную зрелость и в XVI веке, когда Леополит, кальвинисты, ариане и наконец Якуб Вуек переводили Библию, это уже был хорошо сформированный язык. Но литературность же станет его Ахиллесовой пятой».

И в том же сборнике эссе мы находим замечание насчет действительности: «“Что есть истина?” — спросил Пилат. “Что есть действительность?” — спрашивают нас. На такой вопрос не следует отвечать».

Это очевидно: ответ на такой вопрос предполагает знание, а единственное знание о действительности — ощущение ее неуловимости. «Страстная погоня за действительностью», каковую представляет собой поэзия, — это погоня за тем, чего никогда не поймашь. Поэтому цитированный выше «Отчет» увенчан неизбежно вытекающей концовкой: «После каждого

восхода солнца я отрекаюсь от ночных сомнений и приветствую новый день драгоценных химер».

Происходит встреча открытой, все «более вместительной формы» с новым, ранее неизвестным опытом. И действительность до конца не познаваема, и форма поэтической речи не неизменна. Самой большой опасностью тут становится замыкание в готовых, «литературных» формулировках: «В никогда не утоляемой жажде подражательности, т.е. верности детали, состоит здоровье поэзии, ее возможность пережить неблагоприятные для нее времена». Однако этой жажде противостоит та самая «литературность» — «искушение смириться и писать красиво». Остановиться на этом означает одновременно порвать союз с миром, постоянно переменчивым и постоянно требующим нового выражения, в том числе и поэтического. Это означает также пренебречь теми функциями поэзии, которые определяют ее как социальное явление, как то, что «свидетельствует». А именно эту функцию поэзия Милоша выполняет с самого начала, от выражения катастрофических предчувствий в конце 30 х гг. минувшего столетия, через точнейший диагноз послевоенного положения в «Моральном трактате» и до попытки определить состояние человека сегодня. Выполняя же эту функцию и видя перемены, поэзия старается сохранить себя. Чтобы справиться с этим, Милош старается найти ироническую дистанцию по отношению к человеческому опыту. В стихотворении «После» он замечает:

Я очнулся на краю цивилизации,

которая казалась мне комической и непонятной.

Этот комизм позволяет уберечь ощущение непрерывности истории, которое после войны подверглось расшатыванию или даже — в знаменитом вопросе Теодора Адорно о том, можно ли писать стихи «после Освенцима», — сомнению. Отсюда у Милоша возникает полемика с Тадеушем Ружевицем, который сделал трагедию войны вместе с ее дальнейшими последствиями центром своего поэтического мира. В стихотворении «Ружевиц» Милош пишет:

он воспринял это всерьез

серьезный смертный

он не танцует

Однако эта полемика касается не только понимания истории. Главный вопрос здесь — понимание поэзии как танца, т.е. восторга перед чудом бытия, в котором зла не отделить от добра. Как важен этот спор, свидетельствует стихотворение «Unde malum»:

К сожалению пан Тадеуш  
добрая природа и злой человек  
это изобретение романтизма  
на самом деле пан Тадеуш  
зло (и добро) рождается в человеке

Между тем ни зло, ни добро не составляют внутреннего облика человека. Его стержнем, неотторжимым и ни к чему не сводимым, оказывается эротика, как в строках стихотворения «Честное описание самого себя за стаканом виски в аэропорту, допустим, в Миннеаполисе»:

Вижу их ноги в мини-юбках, брюках или  
развевающихся тканях,

За каждой подсматриваю отдельно, за бедрами и  
ляжками, раскачиваемый порновидениями.

Старый похотливый дед, пора тебе в могилу, а не к  
играм и забавам молодости.

Неправда, я делаю только то, что всегда делал,  
составляя сцены этой земли по приказу эротического  
воображения.

Этот приказ объясняет, почему та «погоня за действительностью», которую представляет собой поэзия, — «страстная» погоня, в глубине которой лежат желания, не поддающиеся ни подавлению, ни рационализации. Таким явлен мир в поэтической прозе, которой написан роман Милоша «Долина Иссы» — произведение, где эротика если и не царит, то во всяком случае во многом определяет поведение ребенка, героя повествования. При этом эротика насыщена ощущением волшебства, утраченного современным человеком.

«Поэт XX века, — читаем мы в «Свидетельстве поэзии», — это ребенок, которого тренируют в уважении к голым фактам исключительно жестоко просвещенные взрослые». В заключение автор, однако, подчеркивает: «И все-таки

существуют знамения, которые позволяют ожидать фундаментальной перемены у самых истоков, т.е. техническая цивилизация начнет смотреть на действительность как на стеклянный лабиринт, не менее волшебный, чем тот, который видели алхимики и поэты. Это стало бы победой Уильяма Блейка и его «Божественных Искусств Воображения» — но и триумфом ребенка в поэте, слишком долго дрессированного взрослыми».

Обретение детской «наивности», детской чистоты взгляда — при этом взгляда, не лишённого и доли жестокости, — возможно лишь при подчинении «приказу эротического воображения», разжигаемого страстями и по-своему бескорыстным любопытством. Это — то любопытство и открывает просторы «более вместительной формы», к которой ведет Милоша рисунок библейского стиха. На эту стезю автора «Безымянного города», вероятно, привело наблюдение, сделанное Оскаром Милошем, которое состоящий с ним в родстве нобелевский лауреат приводит в своих рассуждениях: «Форма новой поэзии, — писал Оскар Милош, — вероятно, будет формой Библии: свободно текущей прозой, выкованной в стихотворные строки». В этом насыщении поэзии прозой, т.е. в выдвинутом Чеславом Милошем еще в сороковые годы отходе от «упрямо рефлексивной лирики», проявляется стремление к «верности детали», к постоянно обновляемому опознаванию действительности в ее форме, данной «здесь и теперь», как в стихотворении «Сараево» с язвительным ироническим подзаголовком («Пусть это будут не стихи, но хотя бы то, что я чувствую»):

Когда убиваемая, насилуемая страна взывает о помощи к Европе, в которую поверила, они зевают.

(...)

Теперь оказывается, что их Европа с самого начала была

самовнушением, ибо ее вера и основа — ничто.

Эта «верность детали», стремление свидетельствовать о моменте, который бесповоротно уходит, — своеобразное «подглядывание», как в стихотворении «Voyeur»:

Я был странствующим подглядчиком на земле. (...)

Всегда думал о том, что носят женщины закрытым:

Темный вход в сад познания

В пене юбок, нижних юбок и оборок. (...)

Я, правда, не собирался с ними спать.

Их желали глаза мои, алчные, крайне алчные,

Приглашенные на комический спектакль,

Где философия и грамматика,

Поэтика и математика,

Логика и риторика,

Богословие и герменевтика

И все науки мудрецов и пророков

Собрались, чтобы сочинять песнь песней

О неприручаемом пушистом зверьке

Эта «песнь песней» — поэзия, горизонт которой определен Писанием. И не случайно в результате своих размышлений над слабостью польского языка, над тем, как он заражен «литературностью», Милош взялся за труд нового перевода Библии. Комментируя свою работу, он замечал: «Но все это только поиски, ибо сегодня нет польского языка, способного вынести библейский текст, — его еще надо создать». Можно предположить, что эти «поиски» должны служить не столько самому переводу, сколько созданию нового поэтического языка, позволяющего обычное повествование преобразить в притчу, в которой обыденность, случайная и временная, приобретает дополнительный аспект, наделяется смыслом. В стихотворении «Так называемая жизнь» мы находим описание трудностей, встречающихся на пути к тому, чтобы уловить действительность в сети этой «более вместительной формы»:

Так называемая жизнь:

все, что дает сюжеты мыльным операм,

не казалось мне достойным рассказа,

или же я хотел бы говорить, да не умел.

Дело в том, что и поэтическое повествование, и мыльная опера действительно говорят об одном и том же — о человеческой судьбе, о наших страстях и переживаниях, которые исчезнут



вместе с нами. Однако — и тут появляется необычайно важная в поэзии Милоша проблема — именно поэтическое повествование должно сделать так, чтобы то, что мы считаем случайным приключением: наши радости и наши страдания, — нашло свое место в промысле Сотворения и насытилось смыслом.

Петр Мицнер

# ПУТЕШЕСТВИЕ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА ИЗ ВАРШАВЫ В ПЕТЕРБУРГ

Он впервые оказался в прежней столице империи (в пределах которой родился), когда ему было почти 80 лет, в 1971 м. Любезные гиды показывали ему самые интересные места, здания, коллекции. Он молчал. Ни о чем не спрашивал. Слушал и смотрел.

Ему незачем было спрашивать, как дотошному туристу. Он знал. Он знал этот город по книгам. Этот город был в нем. Теперь он только сравнивал. А вернувшись в Польшу, написал небольшую книжку под названием «Петербург» (о ужас! ведь город носил тогда имя вождя революции). Она вышла в 1976 году.

Ивашкевич описал в ней свое немое присутствие на берегах Невы. Мы видим, как он стоит перед домом, где была квартира Александра Блока, и смотрит вверх, на окна, из которых русский поэт смотрел вниз. Видим его под окнами Аничкова дворца, за которыми разыгрывался роман Николая и красавицы Натальи, перед казармами Павловского полка, где в молодости служил замечательный польский писатель, один из самых беспокойных польских умов XX века — Виткаций. Поэт стоит на Марсовом поле и удивляется, что оно такое маленькое.

Он молчит, и стены молчат. Впрочем, о многом можно пока только догадываться. Как-никак до перестройки еще десять лет. Но у литературы есть свои способы водить деспотов за нос.

Собственно, «Петербург» — сборник очерков о писателях, связанных с этим городом (о Радищеве, Пушкине, Достоевском, Блоке и блокадных поэтах), иногда — об их связях с Польшей или поляками; наконец, о роли Петербурга в жизни и творчестве польских писателей (Мицкевич, Виткаций).

Одна из тем книги Ивашкевича — трагическое сопряжение творчества и власти. Но власть — это не только люди: царь, придворные, чиновники. Это и сам город, его архитектура, планировка, колорит, побуждающие личность к почтению и смирению. Кажется, город говорит: ты всего лишь маленький

человечек под копытами Медного Всадника, твои чувства текут по каменным руслам каналов.

Да, страдание. Но оно стимулирует творчество, через него входят в историю, как пишет Ивашкевич в очерке о ленинградском искусстве времен блокады.

Ивашкевич завидует польским художникам, которым дано было ощутить атмосферу петербургской культуры начала XX века. Ведь это была одна из европейских столиц искусства, цветущего даже под полицейской нагайкой.

В «Петербурге» есть прозрачные политические намеки. Отчетливей всего они, конечно, в очерке о Радищеве. Это портрет вечного диссидента. Польский писатель, которого считают оппортунистом, склоняет голову перед гражданским неповиновением. В тексте о Пушкине достается полиции: «Потребовались долгие годы усилий Бенкендорфа, чтобы система усовершенствовалась, укрепилась и стала не только тем, чем она была при правлении последних Романовых, но вообще образцом полицейских методов».

Ивашкевич четко формулирует взгляд на отношения между поляками и русскими, и в этом на помощь ему приходит Блок: «Стыд, злость и жалость чувствовал он, видя, как между поляками и русскими вклинивается “русская военная сволочь”».

Отношения эти бывали очень запутанными, в том числе из-за сложных семейных связей и культурных влияний. «Сенаторша Готовцова, — вспоминает автор, — дочь полковника Заболоцкого, того, что отдал приказ стрелять в демонстрацию на Замковой площади в 1861 г., воспитывавшаяся в Варшаве, в шутку попрекала его тем, что у него дурной польский выговор».

Ивашкевич рос на скрещении влияний польской и русской культуры. Его юношеские стихи написаны по-польски и по-русски, а среди польских есть переводы из Игоря Северянина и Анны Ахматовой, сделанные еще до революции. В его неопубликованных записях 1966 г. мы читаем: «Вся сила польской культуры — пока она была рассеяна и впитывала соки России, Украины, Кавказа. Теперь корням неоткуда черпать соки, отсюда измельчание».

А несколькими годами позже, перед самой поездкой в Ленинград, он записал: «“Поэзия русской действительности по «Евгению Онегину»”. Эта тема первого сочинения, которое я писал в Киеве в 1909 г., осталась во мне на всю жизнь». Он

подумывал о том, чтоб написать «петербургский рассказ» о Чайковском или «Сентиментальное путешествие из Москвы в Петербург». Был у него даже такой замысел: «Может, посидеть немного там, у них, чтобы написать что-нибудь не только для нас, а и для них».

Ивашкевич верил в примиряющую силу литературы, которая помогла бы обеим сторонам освободиться от чувства вины. Порой парализующего, как в случае Блока, который не сумел закончить свою «польскую» поэму «Возмездие». Почему? — не раз спрашивает Ивашкевич. И не находит ответа.

В «Петербурге» нет однозначных утверждений. Но это и не собрание путевых заметок, какие писал иногда Ивашкевич. Это запись общения писателя с мифом города, мифом тревожащим и творчески плодотворным. И общения с реальным Ленинградом, на который он смотрел, как на сон.

## ВИТКАЦИЙ

Когда выходишь теперь на Марсово поле, вовсе не кажется, что эта площадь так огромна, как писали когда-то Мицкевич и Пушкин. Ее пространство сужено зеленью — вот и сейчас сирень в цвету. Посредине памятник героям Революции — он тоже уменьшает площадь, а цветы и кустарники преобразуют грозный плац царских военных смотров в место детских забав.

Границы площади — три реки: Нева, Мойка и Фонтанка, а одну сторону целиком занимает грандиозное здание с тремя классическими фронтонами из гладких дорических колонн. И архитектурой (александровский классицизм), и размерами здание производит внушительное впечатление.

Глядя на эту огромную, строгую постройку, атмосферу которой несколько смягчала чудесная июньская погода, я не думал ни о зодчих, которые ее соорудили, ни об императоре, который проводил здесь свои ужасные смотры; непокорная мысль моя уносилась совсем в иные сферы. Ведь это здание — казармы лейб-гвардии Павловского полка, офицером которого в 1914 или 1915 году был Станислав Игнаций Виткевич. Я видел его в мундире этого полка и познакомился с ним как с «павловцем», хотя не очень-то могу себе его представить в этой роли. Павловский был одним из самых шикарных полков Петербурга, а те годы, когда Виткаций начинал военную службу, еще не очень отличались от мирных времен. Война лишь постепенно переставала быть игрой или забавой, какой она казалась поначалу, и начинала показывать зубы и когти — чтобы затем переродиться в революцию. [...]

Окончив офицерскую школу примерно в марте-апреле [1915 г.], он был зачислен в Павловский полк. То, что Виткевич попал в столь замечательный полк, свидетельствует о весьма высокой аттестации при выпуске из школы. [...]

Когда незадолго до революции я встретил Виткация (в Киеве, у Шимановских), он был в полевом мундире, рубашке и брюках цвета хаки, и на нем были какие-то удивительные черно-серебряные погоны с вензелем Павла I. Не в духе ли его драм все это? [...]

Вот завершающие слова его письма к отцу с Цейлона, из города Канди, написанные в последних днях июня 1914 года. После

живописных, восторженных описаний цейлонской природы («я не в силах описать те чудеса, которые здесь вижу») Станислав Игнаций добавляет:

«Все это вызывает страшные муки, невыносимую боль, оттого что Ее нет со мною. Одно только горчайшее отчаянье и ощущение бессмысленности того, что видишь такую красоту. Она этого не видит — а я не художник. Худшему врагу не пожелал бы пережить то, что я передумал на корабле и что терплю, видя непостижимую красоту мира. Все это психически не уместается во мне. Всё — яд, который приближает к мысли о смерти. Когда же кончится это нечеловеческое страдание».

Если к минорному настроению добавить то, что разразившаяся война сорвала прекрасный план путешествия на Новую Гвинею и что дни перед войной были омрачены крупной ссорой с попутчиком, довольно двусмысленным Броней, который вдруг стал большим ученым, профессором Малиновским, а его теории яростно опровергал сам Леви-Строс, — нас не удивят угнетенность и апатия, с которой Виткаций приехал в Петербург и которая вызвала тревогу у его родственников. [...]

Откуда же та разительная перемена, что произошла в Петербурге? «*Tel qu'il est maintenant, il ne l'a jamais été*», — говорит тетка Анеля. Что могло вызвать столь радикальную перемену? Не муштра же в офицерской кавалерийской школе?

Ни один биограф Станислава Игнация не прошел мимо этого отчаянного выдоха-стона среди цейлонских чудес: «Она этого не видит — а я не художник».

Среди существенных лейтмотивов его творчества — тоска по величию, полное осознание своей «немогущности», художественного бессилия, которое порой бывает главной трагедией его героев.

А ведь двумя годами раньше в письмах Червиёвской он утверждал, что он художник и только художник. Как же так? А так, как в его драмах: сознание художника колеблется между полным отрицанием своего призвания и уверенностью в нем. В этом и состоят терзання героев «Нового освобождения», «Водяной курочки», «Матери», «Сапожников» и других драм Виткевича.

Раньше я думал, что лишь теперь, в 1914 г., по приезде из Петербурга, Виткевич в деталях познакомился с историей своего двоюродного деда по отцу Яна Виткевича, историей потрясающей и невероятной, которая уже в последнее время

послужила темой для двух русских романов и одного американского. Конечно, Петербург должен был напомнить Виткевичу историю отца дядюшки. Неизвестно, было ли уже тогда обнародовано письмо Томаша Зана, где описана встреча с Яном Виткевичем на Невском проспекте и его внезапный трагический конец. Но, разумеется, тетка Анеля знала эту историю и наверняка в подробностях рассказывала ее Виткацию. Впрочем, рассказывала, скорее всего как о самоубийстве. Версия политического убийства тогда еще не была общепринятой.

Однако потом я вспомнил, что сам читал «Нетоту» Тадеуша Мицинского еще в 1910 г., когда ее печатали в «Сфинксе», а ведь в этом невероятном романе автор воскресил Яна Виткевича и повелел ему в образе мага Литавора обретаться у подножья Гевонта. Так что история деда не была для Виткация тайной; возведенная в миф писателем, которого он ценил очень высоко, она была ему отнюдь не внове.

Да и сам Петербург оказался ему не в диковинку. В 1901 г. он уже был здесь с тетей Анелей и ее дочерью Ядвигой (впоследствии Липковской-Жуковской, знаменитой тещей генерала Соснковского, дамой «с кресов») и вместе с ними посетил Эрмитаж, ставший первым большим европейским музеем, где побывал начинающий философ.

У нас очень мало сведений о жизни Виткация в России во время войны и революции. Вопреки тому, что говорят другие его друзья и о чем я знаю по собственному опыту, Рытард в своих мемуарах пишет, что Виткаций «охотно вспоминал об этом» и с увлечением воспроизводил события и картинки из «павловского» прошлого. К сожалению, Рытард не приводит никаких деталей этих рассказов, прикрываясь тем, что «нельзя и не пристало будоражить ближних, увековечивая эти события». Кажется, однако, что Рытард ничего этого просто не помнит, если Виткевич вообще ему что-либо рассказывал. Воспоминания он записывал поздно, память часто его подводит; он не помнит, например, даты своего обручения, путает имя жены Виткевича. Кроме того Рытард не знал России, не знал русского языка, не знал русской литературы, и все его рассказы о петербургских приключениях Стася довольно туманны. А вот в статье Яна Виткевича, двоюродного брата Виткация со стороны отца, мы находим кое-какие поразительные сведения.

То, что он был на фронте во второй год войны и был контужен под Молодечном, отмечает только Ян Виткевич. Он же говорит и о том, что в Павловске, в офицерской школе, Виткевич начал

писать портреты, а в Петербурге создал цикл «астрономических композиций», которые приобрела Марыля Собанская («тетя Цеппелин»).

«В России он также начал серьезно заниматься философией», — утверждает двоюродный брат. То же говорит и Тадеуш Котарбинский.

Но ведь уже в 1902 г. родились первые философские эссе Виткация. И они сохранились! Так что тут много противоречий.

Несмотря ни на что, мы склонны понять ту перемену, которую так подчеркивает в своем письме к матери Виткация его тетка Яловецкая. Видимо, то, что он «выше поднял голову», — следствие каких-то более глубоких переживаний, чего-то, что вызвало у него особое воодушевление. Следствие того, что он констатировал и убедился: «Да, я художник!»

Однако надо представлять себе, чем был Петербург-Петроград в момент, когда разразилась I Мировая война, и в первые два года боев, когда поражения были еще не так заметны и назревала революция, что наполняло сердца всех людей, способных переживать, надеждой и трепетом. Неописуемый, страшный удар — начало войны, всколыхнувшее застойные воды буржуазных культур, — был ни с чем не сравним. Это чувствовалось и в далекой провинции, где был я, не говоря уж о Невском проспекте или Марсовом поле. Станислав Ноаковский в своей автобиографии писал:

«Художественный мир России был миром большого стиля; я считаю: мое счастье, что я ощутил этот размах, не наш масштаб. Без пребывания в России я не стал бы собою сегодняшним. Петербург, Москва, вся Россия, сказочно многоцветная и интересная, сыграла в моей жизни художника громадную роль».

Мне кажется, именно масштабность, столь отличная от галицийской имперской скудости, так потрясла психику Виткация. Фантастика этой культуры, которая восхищала даже таких ограниченных непосредственно данным миром людей, как Морис Палеолог, последний французский посол при царском дворе, и была тем, что выпрямило Станислава Игнация. Он ощутил себя художником и ощутил свой артистизм как нечто, отличающее его от закопанской толпы. Почувствовал себя другим человеком.



Он начал писать портреты своих товарищей, офицеров «большого» императорского полка, почувствовал с ними некую солидарность, нашел общий язык с людьми, применительно к которым сам стиль жизни и нравственные идеалы старика Виткевича могли казаться чем-то трогательно наивным и до смешного старомодным. Возможно, его взбудрило чувство освобождения от писем отца и его контроля? Сознание того, что ему не придется ни перед кем отчитываться в прегрешениях? Что наконец-то началась зрелость? Несомненно, в этот момент он уже не сказал бы: а я не художник. [...]

«Русский период биографии Виткация известен, к сожалению, слишком поверхностно, — говорит Анджей Менцвель в своем замечательном исследовании об авторе «Сапожников», — он сам, как пишут мемуаристы, неохотно и редко о нем рассказывал... — (Как видно, фразу, брошенную Рытардом, Менцвель всерьез не принял.) — Однако все сходятся в одном, и мнение это поддерживают самые выдающиеся критики, писавшие о Виткации: это был для него момент переломный, потрясение, катарсис, который изменил все его прежнее мировосприятие, вызвал переориентировку взглядов, мыслей и чувств».

Цитату из Менцвеля, и без того длинную, придется продолжить — зачем говорить своими словами то, что уже было сформулировано почти безупречно.

«В России Виткаций приступил к философским штудиям, — продолжает молодой критик, — там набирают силу те его интересы, которые он потом определит как главные. Там, восхищенный галереями Щукина и Морозова, он начинает систематически размышлять о современном искусстве, оттуда возвращается с почти уже завершенным наброском эстетико-философских взглядов и основными посылами историософских и социальных воззрений, в которых можно обнаружить все характерные мотивы его позднейшего творчества. Виткаций рождается как Виткаций именно в России времен революции».

Увы, нет возможности подробно реконструировать маршруты Виткация в России. Лик сфинкса — а точнее, тройственный лик — казарм Павловского полка ничего нам об этом не скажет. Я стою перед этим зданием, а голова полна мыслей, совершенно не относящихся ни к армии, ни к полкам, ни к Павлу I; хотелось бы проследить, как исторические условия сказались на образе мыслей моего великого друга. Но все напрасно. Не знаю.

Ян Коциц-Виткевич в своей биографии Виткация упоминает, что он был в офицерской школе в Павловске — вослед Достоевскому. Но нет уверенности: не перепутал ли кузен Виткевича павловские казармы и городок Павловск? Галереи Шукина и Морозова были в Москве, Мицинский, вместе с которым Виткаций их посещал, тоже провел войну в Москве. Я познакомился с Виткацием в Киеве. Что он там делал?

Рытард пишет, что Виткаций прятался от солдат и от рабочих властей, что отразилось на его отношении к революции. Есть сведения и о том, что солдатский совет избрал Виткевича своим представителем. Где? Разумеется, на фронте. Контужен он был под Молодечном. Кто и когда сумеет собрать эту головоломку? Но то, что рано или поздно сложить ее удастся, — это наверняка.

Если довериться интуиции или сведениям Менцеля, вопрос о перемене в Виткевиче становится ясен: он ощутил себя не только художником, но и философом, нашел свое место на земле. Тем болезненнее окажется конфликт этого осознания с полным пренебрежением польского общества к Виткацию. Виткация постепенно довели до самоубийства.

Пока что, глядя на эти казармы, на улицы Петербурга, на здания и дворцы, я не могу не поддаться впечатлению, что где-то неподалеку бродит эта невероятная фигура нашего писателя, который ощутил себя художником именно здесь. И не он один. Петербургскому эпизоду в биографии Кароля Шимановского обычно не придают большого значения. Но я-то помню. Помню вечер в Киеве у тетки Юзефы Шимановской, когда Кароль рассказывал о своих только что завершенных произведениях: о Скрипичном концерте и Третьей симфонии (на слова Мицинского!), — и говорил о художественном мире Петербурга, с которым он как раз тогда столкнулся. Не забуду восторга и гордости Шимановского тем, что музыкальная общественность Петрограда его о ц е н и л а.

Помню и его разочарование, когда после возвращения в Польшу он столкнулся с холодом и полным отсутствием интереса к себе.

Отношение Виткация к революции — совсем другая тема. Она требует глубоких исследований, детального изучения. У Менцеля этот вопрос освещен подробно, хотя, быть может, несколько односторонне. Однако, пока революционный опыт автора «Сапожников» не станет нам известен хотя бы в той мере, в какой мы знаем опыт Шимановского (он тоже был

народным комиссаром), мы не выйдем за пределы предположений о событиях вероятных, но не подтвержденных.

Известно, что в Петрограде Виткевич очень много читал. Госпожа Стульгинская в своих дневниках (машинопись) рассказывает, как в детстве она играла с маленькой Жуковской, внучкой тети Яловецкой, в квартире ее бабки. Маленькая Жуковская принесла длинную веревку и предложила «связать дядю». Девочки вошли в гостиную, где, углубившись в чтение, сидел красивый молодой человек в офицерском мундире. Они на цыпочках подкрались к нему и уже хотели накинуть на дядю веревку, но он их заметил, глянул на них страшным взором и воскликнул: «Apage, satanas!» — да так что Стульгинская и по сей день помнит этот голос.

При этом мы не знаем ничего о литературных контактах Виткация в Петербурге и вообще в России. О том, с кем он общался. Можем лишь строить догадки, замечая в его произведениях следы чтения, следы идей, распространенных тогда в России. Один вопрос тут особенно поражает. Это так называемая идея «панмонголизма», ставшая главной политической темой «Прощания с осенью».

Идея «панмонголизма» была одной из аберраций, одним из невероятных заблуждений, к которым привели Владимира Соловьева его эсхатологические размышления. Соловьев пугал Европу нашествием восточных народов и в то же время твердил, что в этом спасение Европы. С одной стороны, стихотворением «Зигфрид» он приветствовал «мужество» Вильгельма II и его интервенцию в Пекине, с другой — в стихотворении «Ex Oriente lux» приписывал России роль «бастиона христианства» от азиатов-монголов. [...]

Совершенно по-своему трактовал «желтую опасность» Блок. Все низкое, банальное, дурное, преступное было для него китайщиной, содержало в себе желтую кровь. Это яд, отравляющий соки истинной культуры, яд, отравляющий душу человеческую. Но где есть «схватка страстей», где есть «огонь и страх», там — «кровь не желтеет».

Андрей Белый свое отношение к теории «панмонголизма» выразил в романе «Петербург», особенно в первом его варианте. Роман был опубликован в 1910 г. и долгие годы оставался литературным событием. Не может быть, чтобы Виткаций, приехавший в Россию в 1914 м, не был знаком с этим произведением. Аура романа была просто разлита в воздухе, особенно в столице; несомненно, автор «Нетоты» хорошо знал эту книгу и наверное подсунул ее своему молодому другу.

Роман Белого носил отчетливо контрреволюционный характер. Кроме того это был роман, написанный необычайно суггестивно, и он наверняка воздействовал на творчество Виткевича. Я не говорю тут о формальной стороне. Балладно-стиховое, навязчивое повторение рефренов, которое так явно повлияло на форму моей ранней прозы («Зенобия-Пальмура», а особенно «Вечер у Абдона»), не нашло в Виткевиче подражателя. Но идейная сторона, тот «монголизм», которым Белый грозит России, Европе и вообще всей нашей культуре, вызвал стойкий отклик в творчестве Виткевича — точнее сказать, Виткевич нашел в том, что писал Белый, подтверждение своим теориям и опасениям.

Борьба с монголизмом, утверждает Белый, безнадежна, ибо бацилла монголизма глубоко проникла в арийскую культуру. В романе «Петербург» носителями монголизма неосознанно являются и высокий чиновник Аблеухов-отец, и «революционер» Аблеухов-сын, и террорист Дудкин (заметим тут виткациев контраст сниженности фамилии и трагической функции персонажа), и каждый по-своему воплощает идею уничтожения арийского мира, идею всемирного нигилизма.

Отношение к революции как к неизбежной катастрофе, адской химере, монгольскому нашествию, ликвидирующему ценности нашей цивилизации, — общие идеи Белого и Виткевича.

И вот я стою перед этими казармами в стиле классицизма, где, пожалуй, никто до меня не предавался таким мыслям, не воскрешал тех сумеречных, жутких настроений, петербургских переживаний Виткация — а ничего определенного мы о них уже не узнаем, — переживаний, которые кладут свой мазок на своеобразный фон великолепного города.

Мы явно не преувеличим, если скажем, что именно здесь Виткаций стал писателем, философом, художником. Все эти начала с давних пор жили, с рождения развивались в этом гениально недоразвитом человеке, и это их развитие, смешанное и запутанное в нем самом так же, как и на его картинах, сделало из него то, чем он был. Не стоит и переоценивать то или иное влияние, будь то его жмудское происхождение, Силгудишки, Цейлон, «Броня» Малиновский, тетка Амеля или Андрей Белый, или даже Петербург и Революция. Он сам об этом пишет в «Немытых душах». Но несомненно, все эти элементы помогли формированию того особенного, самородного и единственного в своем роде явления, каким был Станислав Игнаций Виткевич.

Ярослав Ивашкевич

# АЗИАТЫ

*Э.И. Вам нравится одно, а нам другое.*

*Потому что вы европейцы, а мы  
азиаты.*

*Я.И. Чепуху несёшь, приятель. Все мы  
европейцы.*

*А.О. Все мы азиаты.*

*(Разговор в  
театре)*

I

У королевы Констанции было платье в розочку  
У императрицы Теофану мантия в золотые кольца  
У Маши Чеховой белая батистовая блузка  
С жёстким воротничком  
Бабушка Таубе плела кружевные фартучки  
Няня Данчевская вышивала рушники  
Чёрным и красным шёлком  
А в Дахнувке белили холсты  
На лугах над Днепром  
Как после Канёвской битвы  
У Марыли было платье с узенькими оборками  
У маленькой сиренки рыбий чешуйчатый хвост  
И настигало отчаянье  
Что именно от отчаянья она так легко порхает

Над водой

На большом пруду

В белых юбочках лодки цедят редкую тень

И касается дна опущенная ладонь

Женщины - полумальчика полулебеда

И водяные лилии ныряют как у Моне

Словно мелькают головы рыб меж волнами

В синем сумраке тонут очертанья Европы

Похищенной быком там где туман снег и град

II

Травы Толстого

Хлеб Достоевского

Плакучие ивы Чайковского

Меня оплели по шею

Не вырубит их сабля Володыёвского

Не истребит смешок Даниэля

Кони стучат копытами день и ночь

Скачут несут маленьких наполеонов

И громадных нагих актёров

Из невероятных фильмов

На западе густые лозы над Луарой

Не то ивы не то виноград

Над головой курлычут журавли

Кричат павлины смерти в парках Петергофа

Хорошо что Ярославна

Тихой иволгой плачет на сырых палисадах

На обветшалых безмраморных стенах  
По берегам белых озёр  
На морях острова полные звуков музыки  
Все оркестры мира передают в эфире  
Увертюры марши и солдатские песни  
Не хочу слушать скрежет режущих инструментов  
Только одну песнь запойте: одну  
Песнь Чингисхана и его армады  
Песнь наступающей конницы песнь клинков  
рассекающих  
Чернобыльские дубы и энгадинские кедр

III

“Хоть тишины моей уже ничто не замутит  
не тронь меня. Я тут давно в земле соседи  
мне не нужны. Ничто меня не может разбудить  
пусть даже струну моей теорбы тронет пуля  
уйди. Хочу остаться в смерти одиноким”.

“Немного места нужно мне. Лежу там где упал  
сражённый пулей в спину”.

“А в меня

стрела татарская вошла как в масло.

Но это было так давно”.

“Давно недавно - какая разница?”

“Здесь много таких могил под ольхами  
растут и сосны”.

“Вместе с нами

Спать будет вся земля. Подвинься мой товарищ”.

“Сон тяжкий долог. Может ты и прав  
вдвоём скорей промчится время”.

“Ледяные ямы  
и сны туманные как заросли лещины”.

“И ничего уж нас не ждёт. Не так ли брат?”

“Вострубят ангелы - так люди говорят”.

IV

Слушай Женька давай пошлём

Всех баб крылатых

В Ростов Великий на колокольню

Пускай там каламбонят по стене

Пошлём Ангелину Антонину и Жанну

Инну Аллу и Римму

И Нонну

И пусть звонят что есть мочи

Колом-бом! Колом-бом!

Чтоб услышали у святой Агнессы

fuori le mura и дальше

во всём Палермо

и в Монреале

и тоже звонили

Колом-бом! Колом-бом!

Чтоб им ответили

в Нотр-Даме ла Гранд

у святого Хилария

и у святого Лодерика



чтобы уши заткнули  
у самого святого Леонарда  
и у святой Гудуллы!  
И чтобы над всей Европой  
гул стоял  
от этого звона  
над реками Европы  
над её островами  
и над морями Европы  
Колом-болом! Колом-бом!  
И чтобы все крылатые бабы  
взмахнули радужными крылами  
и чтобы все мадонны  
вышли нам навстречу  
через золотые ворота  
сквозь серебряные оклады  
и крылатые двери  
и чтоб мы пьяные звоном  
и пьяные от вина  
кричали что было сил  
Колом-болом! Колом-бом!  
И чтоб мы неслись на конях  
вперёд вперёд вперёд  
все вместе  
в радуге звонов  
Колом-болом

азиаты

V

Вот земля перед нами плоская и зелёная  
Городами мостами деревьями испещрённая.  
Но затаились где-то заповедными схронами -  
Белая Церковь дивная или обитель скромная.  
Ульи мёдом налитые бурлящие родники  
Расписные цветастые домики-сундучки.  
И в городских провалах тайные есть убежища  
Кладбищ поля бескрайние заросли жизни свежие.  
А дома на пригорках и ландыши на полянах  
То синевой подёрнуты то зарёю румяной  
Воды неукротимые палевых рек порожистых  
Зеленовато-синие мосты железнодорожные.  
Там открывается готика огнецветных аркад  
За апельсиновой рощей где райских яблонь сад  
И пепельные горы под шлейфом плюшево-пенным  
И романская червень по-над зелёным Рейном.  
Высвободится из тайны этого мира правда  
И мир этот всех нас примет простым движением  
брата  
И яблони цвет вручит нам словно бы знак лучистый  
Пресветлого убиения и вечной дружбы чистой.  
И мы поплывём в огромной ладье как в ковчеге  
Ноевом  
Под жёлтыми парусами - на небо голубое  
И в ложе предуготованное нырнув увидим - над нами

Стаи птиц пролетают под серыми облаками.  
Звоны труб золотистых плачи скрипок зелёных  
Окутают нас цветами как июль раскалённый  
Когда всё на свете сгинет – с этой широкой равниной  
И с этой землёй и небом сольёмся мы воедино.  
Так неужели только тогда и будем богаты  
Знанием – узнав европейцы мы  
или всё-таки азиаты?

(  
1  
9  
6  
9  
)

*Перевёл Андрей Базилевский*

В рукописи «Азиатов» есть два эпиграфа, которые не вошли в опубликованный вариант:

*«...как дух азиатский есть мистика, так дух европейский  
есть философия...»*

*Бронислав Трентовский*

*«Да – между Западом и Азии дыханием...»*

*Я говорю...»*

*Циприан Норвид*

# РАСКАЗЫ СОЛЖЕНИЦЫНА ПО-ПОЛЬСКИ

Книга «На изломах» — это более пятисот страниц давних и новых рассказов Александра Солженицына. Здесь собрано все лучшее, что создал нобелевский лауреат в области малой формы: от культового «Одного дня Ивана Денисовича» (1959) до последних поэтических «крохоток» (1996-1997). Между ними — ностальгический «Матренин двор», напоминающая о расплате «Правая кисть» (о старом большевике-инвалиде, когда-то рубившем наотмашь врагов революции, — а потом рубившая кисть у него высохла, и во времена Хрущева старик тщетно ищет помощи в ташкентской больнице), жестокий, проникающий в самую суть вещей «Случай на станции Кочетовка» (станция, ранее известная читателям — по велению бдительной цензуры — как Кречетовка, дабы избежать ненужных ассоциаций с фамилией видного советского литературного деятеля Кочетова)... Кроме того, в книгу вошли многочисленные новые рассказы, о которых я скажу несколько слов в конце.

## О, Русская земля...

Что же объединяет сорок три рассказа Солженицына, чрезвычайно разнообразные по содержанию: новеллы о деревенской жизни, о войне, поэтически-лирические фрагменты, — написанные на протяжении почти полувека, а теперь по воле писателя выходящие под одной обложкой? Мощным связующим оказываются как любимые писателем среднерусские просторы «с лиственным рокотом леса», так и фигура всеведущего повествователя, в котором для каждого, кто хоть немного знаком с биографией Солженицына, отчетливо проступают его черты. Повествователь этот — особенно в рассказах 60-х гг. (за исключением «Одного дня Ивана Денисовича», безусловно лучшего произведения Солженицына) — нечасто дает событиям говорить самим за себя. Он склонен к прямым оценкам, не избегает и мировоззренческих тирад... Это несколько портит поразительный «Матренин двор», где рассказчик, недавний зэк, а затем ссыльный, выступает в роли защитника утраченной «кондовой России» и противника гнилой цивилизации («культурности»). Во всем зле на Руси (в том

числе и современной), он по-славянофильски винит частную собственность, источник всяческой «ненасытности»...

Анджей Дравич, покойный «мастер Ложи польских русистов», в свое время убеждал своих краковских студентов, что лучшее произведение Солженицына — это «Матренин двор». Но уже становится заметным, что время не пощадило «Матрену». Неужели, желая быть в России «праведником», нужно непременно презреть все земные блага? Рассказ кончается так: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». А может, добрая Матрена вполне могла бы и не носить рубище? «Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев». Быть может, она все равно осталась бы «праведником», даже научившись, к примеру, готовить без лишних «приправ»: «Не уметьши, не варемши — как утрафишь? (...) Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка».

### **Зотов или Павлик Морозов?**

Из ранних произведений Солженицына лучше всего сегодня читается — опять же кроме «Одного дня Ивана Денисовича», который напечатан в превосходном переводе Витольда Домбровского и Ирены Левандовской, — «Случай на станции Кочетовка». В рассказе гениально изображены психологические механизмы души «советского человека». Его главный герой — молодой лейтенант Зотов, человек с высшим образованием, родом из Белоруссии, а теперь, осенью военного 1941 го, дежурный помощник военного коменданта на заштатной железнодорожной станции Кочетовка (линия Рязань — Воронеж). Мы видим, как он доброжелательно разговаривает с московским актером, попавшим в эту дыру после выхода из немецкого окружения... У артиста, как замечает Зотов, была «симпатичная, душу растворяющая улыбка». Он великолепно рассказывал о своих ролях на столичной сцене: играл, например, Вершинина, о котором лейтенант, правда, никогда не слышал (декадента Чехова тогда мало ставили), но доводилось — и героев пьес Максима Горького, «самого нашего умного, самого гуманного, самого большого писателя»... Однако «инструкция требовала крайне пристально относиться к окруженцам, а тем более — одиночкам». И вот, оказывается, этому милому актеру ничего не говорит название «Сталинград», он не знает, как раньше назывался этот город...

«Возможно ли? — лихорадочно размышляет Зотов, — Советский человек — не знает, что Сталинград — это бывший Царицын?! Это не наш человек — без сомнения, агент, подосланный белоэмигрант или какой-нибудь офицер переодетый»... И лейтенант снимает телефонную трубку. Затем уже соответствующие органы сопровождают актера к «вратам вечности»... Так что же, Зотов — это особый случай? Увы, нет... Умная и язвительная Надежда Мандельштам написала в свое время, что в каждом из нас было что-то от Зотова...

Мы знаем, что во времена хрущевской оттепели, прежде чем в 1974 г. писатель был выдворен из страны, несколько рассказов Солженицына нашли себе пристанище на страницах журнала «Новый мир»: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела», «Захар Калита». В Польше «Один день Ивана Денисовича» появился тогда в варшавском еженедельнике «Политика», а «Случай на станции Кречетовка» — еще раньше в журнале «Литература радзецка» («Советская литература»). Польский писатель Адольф Рудницкий, как явствует из написанного в те годы эссе «Две-три фразы», впоследствии вошедшего в книгу «Любовная пыль. Голубые странички» (Варшава, 1964), был очарован именно «Кречетовкой». Сам хорошо помнивший первые дни войны на территории СССР, он писал: «Действие [рассказа] разворачивается в первые месяцы войны, о которых Черчилль позже заметил: “Ни одна страна на свете уже не поднялась бы после такого поражения”. В триумфе Гитлера было тогда что-то почти мистическое. Казалось, никто и ничто его не остановит. Каждая неделя приносила [...] новое окружение и новые миллионы военнопленных. Расползались немецкие границы. Я был тогда во Львове и наблюдал это вблизи. Почти не конвоируемые немногочисленными, самоуверенными, улыбающимися немецкими солдатами, проходили по улица Львова советские военнопленные. Среди них были и наши знакомые, с которыми мы недавно сидели в кафе. Мы ничего не знали о приближавшемся ударе, об опасности которого предостерегали нас письма из ГГ: мы были как в коробке, выложенной ватой... За Днепром царил неопишуемый хаос. Только вдали от него, на большом расстоянии можно было попытаться собрать какие-то силы, способные оказать сопротивление, не охваченные паникой разгрома. Первый, поначалу неощутимый, удар нанесли Гитлеру именно эти расстояния».

Затем Рудницкий с незаурядным эстетическим чутьем реконструирует содержание, фабулу рассказа, обращая при этом внимание на каждую его деталь. Очевидно, что

Рудницкий, старый польский интеллигент, на стороне актера Тверитинова, не любящего Горького, но любящего Чехова... Тверитинов не знает — и это тоже возбуждает в польском писателе симпатию, — что бывший Царицын называется теперь (в 1941 г.) Сталинградом. Но именно этим он и подписывает себе приговор... Нельзя не признать, что строки Рудницкого, приведенные ниже, — одно из самых проникновенных исследований «Кречетовки», какие только существуют в мировой литературе о Солженицыне:

«На войне погибают миллионы. Погибают безвинно. Поэтому какой-то процент должен погибнуть, так сказать, еще более безвинно, еще более абсурдно, несправедливо. Нравственно нечистоплотный человек, возможно, не сделал бы того, что Вася Зотов, но люди чистые и наивные бывают особенно опасны. Впрочем, дело даже не в Васе Зотове, а в ситуации: на каждом шагу плакаты, предостерегающие перед шпионами. К тому же сам Зотов никогда не был уверенности, что не совершил ли он ошибки. Той уверенности, которой проникаемся мы, услышав крик Тверитинова. Мне кажется, что своим огромным резонансом рассказ обязан двум фразам, выделенным самим автором: циничной **«Надо будет только выяснить один вопросик...»** и душераздирающей **«Ведь этого не исправишь!!»** Велика сила подобных фраз, человечество порой ждет их десятилетиями. И лишь будучи написанными, произнесенными вслух, они позволяют людям передохнуть. Они отделяют правду от лжи, свет от тени, подлость от благородства. Они отдают последнюю справедливость безвинно погибшим. Благодаря подобным фразам человечество очищается. И они служат доказательством, что без очищения человечество жить не может».

## Русский человек и история

В эмиграции Солженицын не писал рассказов в течение двадцати лет. Вместе с женой и детьми он погрузился тогда в работу над обличающей революцию эпопеей «Красное колесо» — по замыслу почти столь же грандиозной, как сама революция. После «репатриации» (1994) писатель успешно вернулся к новеллистике. Благодаря этому в сборник «На изломах» вошли и последние его замечательные рассказы, в том числе рассказ «Эго», повествующий о судьбе Павла Эктова, бывшего сельского кооператора, затем участника антибольшевистского восстания крестьян в Тамбовской области в 1920–1922 гг., которого ЧК в конце концов вынудила предать своих товарищей. На подавление восстания, которое возглавлял «отчаянный и решительный» Александр Антонов,

были брошены огромные силы под командованием Тухачевского, планомерно уничтожавшего крестьян ядовитыми газами. Памятливый Солженицын напоминает об этом факте в рассказе «На краях». Здесь в центре повествования — Георгий Жуков, впоследствии полководец Великой Отечественной войны и маршал СССР, скромно начинавший как каратель в подавлении «антоновщины», этой российской Вандеи XX века... Весьма сочно «Абрикосовое варенье» — небольшой рассказ об Алексее Толстом, не названном, впрочем, по имени, — писателе способном, но продавшемся «за чечевичную похлебку»... С интересом читаются рассказы о войне: в конце концов, автор сам был на фронте (очень жаль, что теперь, уже давно будучи в запасе, он так часто высказывается по «чеченскому вопросу»).

В большинстве новых рассказов Солженицын использует прием, который сам называет «двучастной техникой». В центре его «двучастных рассказов» — одни и те же люди, показанные с точки зрения либо двух различных уровней сознания повествователя, либо двух различных временных уровней, позволяющих дать оценочную характеристику героев. В рассказе «Все равно» сначала мы видим лейтенанта, вознамерившегося отдать под трибунал солдат, укравших горсть картошки из общего котла... Голодные воришки, которые должны заплатить жизнью за то, что им захотелось картошки в мундире... Во второй части речь идет уже о безнаказанном разворовывании России во времена «перестройки», а точнее — об уничтожении природы и подавлении человеческой инициативы на берегах сибирской реки Ангары. В новых рассказах повествователь Солженицына уже «реабилитировал» частную собственность — в сознании самого писателя подобная эволюция произошла еще в 70-е годы. Поэтому он лишь сокрушается, что последняя российская приватизация вновь стала воровской привилегией немногих («прихватизацией»)... И в этом, увы, он недалек от истины...

Чтение этого сборника в целом — «от корки до корки» и обязательно по порядку! — дает представление о Солженицыне как выдающемся мастере формы. Это мастерство тем более заметно, что все его польские переводчики проявили себя наилучшим образом. Но «польский Солженицын» — если добавить сюда его крупные произведения, прежде всего переведенный Ежи Помяновским «Архипелаг ГУЛАГ», — это тема для отдельной монографии.



## ДВЕ-ТРИ ФРАЗЫ

Все сходится: прежде, чем я прочитал «Случай на станции Кречетовка», мне говорили: «“Один день Ивана Денисовича”? Нет, оригинальность Солженицына блистает только в “Случае на станции Кречетовка”, именно в этом небольшом рассказе...» Есть люди, которые будут уверять вас: «“Война и мир”, “Анна Каренина”? Нет, Толстой жив в “Смерти Ивана Ильича”». Таковы суждения тех, кто любит: им хочется любить то, что они открыли сами. Но самое смешное — число таких открывателей: их миллион. И здесь, как всегда, действует закон. Шестой номер «Литературы радзецкой» наконец подарил нам «Кречетовку». Таким образом, в Польше она вышла до «Дня Ивана Денисовича».

Действие разворачивается в первые месяцы войны, о которых Черчилль позже заметил: «Ни одна страна на свете уже не поднялась бы после такого поражения». В триумфе Гитлера было тогда что-то почти мистическое. Казалось, никто и ничто его не остановит. Каждая неделя приносила новый «котел», новое окружение и новые миллионы военнопленных. Расползались немецкие границы. Я был тогда во Львове и наблюдал это вблизи. Почти не конвоируемые немногочисленными, самоуверенными, улыбающимися немецкими солдатами, проходили по улица Львова советские военнопленные. Среди них были и наши знакомые, с которыми мы недавно сидели в кафе. Мы ничего не знали о приближавшемся ударе, об опасности которого предостерегали нас письма из ГГ: мы были как в коробке, выложенной ватой... За Днепром царил неопиcуемый хаос. Только вдали от него, на большом расстоянии можно было попытаться собрать какие-то силы, способные оказать сопротивление, не охваченные паникой разгрома. Первый, поначалу неощутимый, удар нанесли Гитлеру именно эти расстояния.

В рассказе Солженицына воспроизведен этот хаос начала войны. Сама война в нем отсутствует, достаточно ее отсвета. На станции Кречетовка появляются движущиеся на восток окруженцы, которым удалось бежать из «котлов», — без документов, с какой-нибудь бумажкой, одной на сорок человек, с какой-нибудь подтверждающей их личности писулькой, которую ничего не стоит подделать. Они-то особенно подозрительны, и Тверитинов, один из главных

героев рассказа, как раз из них. Есть и гражданские эвакуированные — «выковыренные», как говорит тетка Фрося, — промерзшие, грязные, голодные, постоянно ищущие чего-нибудь съедобного, мечтающие о теплых вагонах, в которые их не пускают проводники: по двое стоят на ступеньках и отгоняют. За пяток картофельных лепешек деревенские бабы в Кречетовке покупают чулки, вычурные блузки. «А Грунька Мострюкова надысь какую-то чудную рубашку выменяла — бабью, ночную, мол, да с прорезьями, слышь, в таких местах...» — Денег бабы в Кречетовке не хотят. — «Только деньги нам не нужны, везите дальше».

Близкого к автору героя рассказа зовут Вася Зотов, он помощник военного коменданта Кречетовки. Зотов переживает, что его роль в этой великой войне сводится к тому, чтобы останавливать, сцеплять и отправлять вагоны. Его гложет комплекс по отношению к тем, чьи лица озарены отблеском фронта. Он видел свое место в будущем триумфальном шествии мировой революции, а не здесь. В 1937 г. он даже выучил испанский. Он обошел тогда все райвоенкоматы, требуя, чтобы его послали в Испанию. «Смеются: ты с ума сошел, там никого наших нет, что ты будешь делать?.. (...) Вы — не провоцируйте меня! Кто вас подослал?» Вася Зотов из тех, кто верует, — их поражение обычно самое тяжелое.

Многие факты, о которых годами молчали, наконец дождались гласности и света у Солженицына, и без всяких розовых очков! Но одни лишь факты, оглашенные с запозданием, остались бы только неприятными и раздражающими, если бы не тон гнева и человеческих терзаний. Чувствуешь руку человека, многое пережившего. Терзания и сейчас его не оставили, и ему не приходится ничего в себе менять, достаточно быть самим собою. Его симпатии и антипатии обусловлены отношением к страданиям. В его сердце «униженные и оскорбленные» занимают первое место. Он влюблен в неряшливого младшего сержанта Дыгина, уже одиннадцать дней голодающего вместе со своими четырьмя товарищами: они не могут допроситься положенного им довольствия. Ему нравится старший сержант Гайдуков, элегантный, обожающий лошадей, пускающий к себе в вагоны озябших беженцев, чтобы те немного согрелись. (Солженицын не стесняясь подчеркивает, что солдаты пускают в вагоны в первую очередь молодых девок). Хотя глухой старик Кордубайло и тетка Фрося приводят помощника коменданта в ужас, особенно их отношение к делам общественным: лозунги до них просто не доходят, они все перелагают на свой язык, — Вася Зотов как будто вот-вот осознает, что крепкая связь этих

людей с самой жизнью, их «накопанная картошка» есть огромная ценность. В отличие от «униженных и оскорбленных», Васе отвратительна любая «воровская сытость».

В том же номере «Литературы радзецкой» мы находим отголоски полемики американских славистов и ответ им критика Ермилова. Мне не нравятся ни американские слависты, ни Ермилов. Американцы утверждают, что русские не открыли ни одной новой литературной формы, не создали ни одного нового литературного движения, всё заимствовали у Запада, внося лишь «новшества в унаследованные формы». В ответ Ермилов рвет на себе рубаху: как это так, одна из первых литератур в мире, всеми признанная?.. А ведь американцы правы: русская литература заимствовала очень многое, и без Виктора Гюго, может, не было бы и Достоевского. Ну и что? Величие форме русской литературы давало ее отношение к главной идее жизни, отношение сотворенного к творцу, осужденного к тому, кто осуждает, пожираемого к тому, кто пожирает. Величие форме этой литературы давал вопрос о страдании (включая и вопрос о хлебе насущном). После такой литературы любая другая, пусть самая изобретательная, кажется плоской, техничной, интересной, быть может, для мальчишек, а больше ни для кого. Помню, однажды в театре на пьесе Осборна я подумал: «Он еще не дошел до Горького, а скольких еще он встретит по дороге, скольких ему еще придется миновать?» Без западной литературы не было бы русской, но без русских классиков трудно себе представить что бы то ни было.

Солженицын возвращается к истокам. Ему дорого то и те, что и кто были дороги старым русским писателям. Он не пользуется иной системой оценок, ему достаточно прежней. И вдруг оказывается, что правда человеческого страдания не умирает.

«— Мне кажется, я даже фамилию вашу знаю. Вы — не заслуженный?»

Зотов слегка покраснел от удовольствия разговора.

— Был бы заслуженный, — чуть развел руками Тверитинов, — пожалуй, здесь бы не был сейчас.

— Почему?.. Ах, ну да, вас бы не мобилизовали.

— Нас и не мобилизовали. Мы шли — в ополчение. Мы записывались добровольно».

Нет, Тверитинов — не заслуженный артист, заслуженный артист не занял бы внимания Солженицына. Можно себе представить, что думал Солженицын в лагере об этих людях. Можно догадаться, что, в отличие от Зотова, который, вероятно, был комсомольцем и мечтал о мировой революции, Тверитинов — человек, который так и не избавился от подозрительного отношения к революции. Его неприязнь распространяется даже на Горького. Несмотря на это и несмотря на свои сорок девять лет, он, когда разразилась война, отодвинул все колебания и пошел на фронт добровольцем. Воевал он недолго, ему удалось бежать из окружения — и вот он стоит перед Васей Зотовым в одежде, вызывающей смех и жалость. Пытаясь выменять на еду что-то из своих лохмотьев, он отошел от эшелона, который тем временем тронулся «без гудков, без звонков, без радио — так тихо». К Зотову он пришел, чтобы тот посадил его на какой-нибудь поезд, чувствуя, что сам не справится. Мягкость, беспомощность Тверитинова, его зависимость от окружающих показаны тепло и мастерски. Вася Зотов восхищен гостем, его воспитанием, манерами, светскостью, «артистичностью». Он угощает актера табаком, жалеет, что не может предложить ему кусок хлеба, открывает перед ним сердце — давно он не разговаривал столько, сколько сегодня. Уже и место для Тверитинова готово в эшелоне, как вдруг Зотова поражает, что актер не знает названия Сталинград — для него это все еще Царицын. И тут же на место восхищения вкрадывается подозрительность: шпион.

«— Вы — задерживаете меня?! — вскрикнул он. — Товарищ лейтенант, но за что?! Но дайте же мне догнать мой эшелон!

И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развернутых веером. Он сделал два быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком впереклон.

— Что вы делаете! Что вы делаете! — кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол. — **Ведь этого не исправишь!!**

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — сильно окая, уговаривал Зотов, ногой нащупывая порог сеней. — **Надо будет только выяснить один вопросик...»**

На войне погибают миллионы. Погибают безвинно. Поэтому какой-то процент должен погибнуть, так сказать, еще более безвинно, еще более абсурдно, несправедливо. Нравственно нечистоплотный человек, возможно, не сделал бы того, что Вася Зотов, но люди чистые и наивные бывают особенно опасны. Впрочем, дело даже не в Васе Зотове, а в ситуации: на

каждом шагу плакаты, предостерегающие перед шпионами. К тому же сам Зотов никогда не был уверенности, что не совершил ли он ошибки. Той уверенности, которой проникаемся мы, **услышав** крик Тверитинова. Мне кажется, что своим огромным резонансом рассказ обязан двум фразам, выделенным самим автором: циничной **«Надо будет только выяснить один вопросик...»** и душераздирающей **«Ведь этого не исправишь!!»** Велика сила подобных фраз, человечество порой ждет их десятилетиями. И лишь будучи написанными, произнесенными вслух, они позволяют людям передохнуть. Они отделяют правду от лжи, свет от тени, подлость от благородства. Они отдают последнюю справедливость безвинно погибшим. Благодаря подобным фразам человечество очищается. И они служат доказательством, что без очищения человечество жить не может.

## О СПРАВЕДЛИВОСТИ

О той справедливости, которая является лишь одной из личин зависти, мы уже говорили. Теперь скажем несколько слов о подлинной, непритворной справедливости.

Поскольку почти все философы, моралисты и теоретики права пытались выяснить, на чем основывается справедливость, что можно считать справедливым поступком, справедливым человеком и справедливым государством, следует признать, что к ясности и согласию они в этом вопросе не пришли. Следует также предположить, что это один из важнейших кирпичиков в нашем здании понятий, ибо точно такая же судьба (отсутствие ясности и согласия) выпала на долю всех важных кирпичиков, «обработкой» которых занимаются философы.

Во многих конкретных случаях нетрудно прийти к соглашению насчет того, что тот или иной поступок либо деяние были несправедливыми: например, судья приговорил невинного человека на основе весьма сомнительных улик. Точно так же, хотя и с меньшей очевидностью, можно привести примеры деяний справедливых. Например: Дед Мороз справедливо распределил подарки среди всех присутствовавших на празднике детей; «справедливо» означает здесь просто «поровну». Однако, если мы говорим так в данном случае, означает ли это, что мы считаем принцип «всем поровну» применимым всегда и при всех обстоятельствах? Поразмыслим хотя бы минуту о том, как пришлось бы не просто изменить существующий мировой порядок, а вывернуть его наизнанку, устроить революции с миллионами трупов, чтобы повсеместно ввести подобный универсальный принцип, — а ведь и так заранее ясно, что искомого результата мы все равно не достигнем.

Все пишущие на эту тему со времен «Никомаховой этики» Аристотеля обращали внимание на то, что справедливость чаще всего понимается просто как общее название добра, блага как категории морального сознания. Человек справедливый — это прежде всего человек добродетельный, справедливый поступок — это то, что надлежало сделать в данных обстоятельствах в соответствии с принципами морали, поступать справедливо значит поступать в соответствии с принятым в обществе этическим кодексом. Однако в такой

всеобъемлющей трактовке идея справедливости малопродуктивна. Моральные нормы и кодексы тоже бывают разные: в одном обществе принято мстить обидчику, в другом — людей призывают прощать. Уничтожение политических противников в одном месте считается допустимым, а в другом — нет. Нельзя также говорить, что справедливо поступает тот, кто соблюдает законы данной страны, ибо известно, что законы тоже бывают несправедливыми — и отнюдь не только в условиях тирании или тоталитарного общества (как, например, обязанность доносить на членов своей семьи или соседей либо уголовное наказание за хранение запрещенной литературы), но и в государствах, где существуют демократические институты. Одни назовут несправедливым прогрессивный подоходный налог, другие — запрет на владение огнестрельным оружием, третьи будут считать, что в качестве компенсации за допущенные в прошлом притеснения следует наделять привилегиями потомков тех, с кем когда-то обошлись несправедливо (то есть потомков жертв расовой дискриминации или дискриминации женщин).

Предположим, я служил чиновником в каком-то учреждении, но меня уволили, и теперь я подаю в суд на начальство и требую восстановить справедливость и вернуть меня на работу на том основании, что свои служебные обязанности я выполнял добросовестно. Допустим далее, что я действительно их выполнял как положено, а уволили меня, потому что у меня склочный характер, я беспрерывно со всеми ссорюсь, всех оскорбляю, устраиваю скандалы, так что ни у кого уже больше нет сил это терпеть. Имею ли я право добиваться «справедливости»? Это уже зависит от определения данного слова: большинство наверняка будет считать, что меня уволили справедливо, но всегда найдется меньшинство, состоящее из приверженцев иного определения (со мной поступили несправедливо, ибо я делал все, что мне полагалось делать и за что мне платили).

Согласно древнему речению, справедливость заключается в том, чтобы каждый получал то, что ему причитается. Но откуда нам знать, что именно каждому причитается — и в рамках ли справедливости дистрибутивной (то есть распределения благ) или же ретрибутивной (когда распределяются антиблага, то есть наказания)?

На протяжении столетий люди занимались рассуждениями на тему справедливой цены или справедливой оплаты труда. Проект измерения стоимости товара количеством времени, необходимого на его изготовление, мог казаться

справедливым, так как каждый изготовитель получал «по заслугам», т.е. пропорционально вложенным усилиям. Однако этот проект невозможно реализовать в рамках рыночной экономики: невозможно перейти от таким образом измеряемой стоимости товара к его рыночной цене. Действительно, цены на товары определяет рынок, рынок же устанавливает и уровень оплаты труда, но в рамках рынка нет и не может быть справедливости (если кто-то утверждает противное, то при этом он обязан оговорить, что рынок справедлив по определению, — очевидно, однако, что подобное исходное предположение не имеет ничего общего с тем, что мы интуитивно имеем в виду, говоря о справедливости). Спрос и предложение зависят от самых причудливых капризов фортуны, непредсказуемых природных явлений, кризиса в какой-нибудь далекой стране, прихотей моды и т.п. — здесь нет ничего общего со справедливостью. Если бы биржевые операции должны были подчиняться принципу справедливости, биржа не могла бы существовать. Рыночная стихия приводит к банкротствам, разорениям и лишает работы множество людей. Правда, в цивилизованном мире люди не умирают с голоду, безработным выплачиваются минимальные гарантированные пособия, но это все относится к антирыночным мероприятиям, которые осуществляет государство, чтобы как-то компенсировать отрицательные последствия действия рыночных механизмов. Столь же антирыночными являются и любые виды общественного давления, цель которых — повышение заработной платы. Да иначе и быть не может, ибо устранение рынка означает установление тоталитарного режима со всеми его политическими и экономическими последствиями, с отсутствием свободы и нищетой.

Можно ли сказать, что государственные механизмы, направленные на помощь жертвам рыночной системы, справедливы? Можно — если мы исходим из того, что каждому «полагаются» средства к существованию, что вопиющая несправедливость — оставить человека умирать от голода, тогда как это можно предотвратить. А если нельзя? если тысячи людей гибнут голодной смертью в результате гражданской войны или распада всех социальных структур? Тогда слово «справедливость» теряет смысл.

Невозможно определить понятие «справедливости» и таким образом, чтобы за каждое «доброе дело» люди получали взамен некий его эквивалент. Действительно, когда я даю монету нищему или жертвую какую-то сумму благотворительной организации, я не ожидаю ничего взамен. Относиться к



равным одинаково, а к неравным — неодинаково, но в каждом случае пропорционально существующей разнице, — этот аристотелевский принцип сам по себе неплох, но во многих случаях недостаточен. Например, в соответствии с нашими сегодняшними представлениями, все люди должны быть равны перед законом. Но тогда и применение закона не может быть избирательным. Например, если закон по-разному поступает с разными людьми (скажем, одних карает за преступления, других награждает за заслуги, не предоставляет некоторых прав несовершеннолетним, обеспечивает определенные привилегии инвалидам), то он может делать это лишь тогда, когда с каждым, кто подпадает под данную категорию, будут поступать одинаково. Поскольку мы неизбежно живем в людском коллективе (этот пункт особо подчеркивает Роулс\*, автор трактата о справедливости, наиболее широко обсуждавшегося в течение последних десятилетий), то участвуем и в защите коллективных интересов, а это возможно лишь тогда, когда каждый признаёт, что у других членов общества есть такие же цели и интересы, как у него самого, и что они имеют точно такое же право добиваться своих целей и защищать свои интересы.

Другими словами, основа справедливого общественного устройства — признание взаимобязующего характера любых требований и прав. Если нет этого равноправия интересов, общество распадается. Но не могу ли я сказать сам себе: не нуждаюсь я ни в каком вашем равноправии, я сам забочусь о собственных интересах, с другими не считаюсь и стараюсь лишь, чтобы меня не схватили за руку, когда я сделаю что-либо недозволенное? Действительно, можно выбрать такой способ поведения, и многие именно его и выбирают, не особо вдаваясь в размышления о сложностях понятия справедливости. Можно-то можно, но уж если меня поймут и накажут, то тогда я не могу жаловаться, что страдаю несправедливо.

Итак, справедливый порядок вещей основан на молчаливом общественном договоре. Чего же требует окружение, когда побуждает меня вести себя «по справедливости»? Надо полагать, именно того, чтобы я признал, что такой неписанный договор существует и что в конечном итоге это мне самому на пользу, хоть, может, я и желал бы пользоваться всяческими привилегиями и не считаться с другими людьми. Задумаемся, однако, над следующим: в таком понимании справедливость уже перестает быть осуществлением правила «каждому — то, что ему причитается». Отпадает сама необходимость предполагать, что кому-то что-то причитается; мы не обязаны даже говорить о морали, о том, что этично, а что нет, —

достаточно признать, что если люди соглашаются признать равноправие своих взаимных притязаний, вытекающих из эгоистических интересов, то это обеспечивает вполне сносный и стабильный порядок. Понятие справедливости как добродетели становится в этом случае ненужным. Мы предполагаем, что интересы людей вступают между собой в конфликты и что тех благ, к обладанию которыми люди стремятся, на всех все равно не хватит. В таком подходе нет никакой метафизики справедливости, никаких естественных нормативных предписаний, никакого пафоса Антигоны, никаких заповедей и запретов, ниспосланных нам Самим Богом.

Однако люди всегда и во всем доискивались подоплеки, хотели верить в некий естественный порядок вещей или же в голос, доносящийся с небес и возвещающий нам, что мы должны делать, чтобы поступать по справедливости. А для этого недостаточно как признания взаимности притязаний, так и позитивного права. Нетрудно представить себе, что я могу поступать несправедливо, не нарушая закона, и а иногда и справедливо, этот же закон преступая. Существуют такие связи между людьми, которые не регулируются правовыми установлениями (хотя сегодня государства стремятся все больше и больше расширить сферу действия права), но в которых находит себе применение идея справедливости. Вне сомнения, идея справедливости не может требовать, чтобы я относился ко всем людям одинаково, никак не выделяя близких, друзей, любимых. Так способно поступать только бессердечное чудовище. Я имею полное право предоставлять различным людям привилегии в зависимости от собственных возможностей и склонностей (признавая, что так имеет право поступать каждый), если только речь не идет о таких контактах, где от меня что-то требуется самим законом, руководствующимся принципом беспристрастности. Что ни говори, но мы считаем неправильным, чтобы судья или присяжный заседатель участвовал в процессе, где на скамье подсудимых сидит его брат, или чтобы профессор принимал экзамен у собственной дочери. Иначе говоря, мы предполагаем (по-видимому, не без оснований), что каждого можно заподозрить в том, что он при возможности предоставит людям, к которым неравнодушен, не полагающиеся им привилегии.

Но если мировой дух на самом деле чего-то от нас ожидает, то вовсе не справедливости, а доброжелательного отношения к ближним, дружбы и милосердия, то есть таких качеств, которые никак из справедливости не вытекают. В этом, как

учит нас христианское вероучение, мы уподобляемся Самому Богу — ибо Бог чаще всего поступает с нами не по правилам справедливости, а без всяких правил, движимый любовью. Действительно, говорит нам христианство, никто не может обладать такими заслугами, чтобы по справедливости заслужить себе вечное спасение. Достаточно высказать это утверждение, чтобы признать, что это очевидная истина. Приверженцы крайних течений в христианстве, ведущих свое начало от Августина, утверждали даже, что если бы Бог правил миром по справедливости, то все мы без исключения попали бы в ад, ибо все заслуживаем вечных мук. Но если даже не соглашаться с подобной крайней точкой зрения, то простой здравый смысл подсказывает нам, что вечное спасение не может быть справедливым вознаграждением за наши, пусть даже самые выдающиеся, но все же конечные заслуги. Итак, Бог не справедлив, но милосерден. Так будем же и мы такими, как Он, не слишком заботясь о справедливости, — совет, если вдуматься, совсем неплохой.

\* Джон Роулс — американский философ, автор классического труда «Теория справедливости (1971). — Пер.

# ЕДВАБНЕ ИЛИ СОТРЯСЕНИЕ СОВЕСТИ

10 июля 1941 г. в местечке Едвабне [что по-русски значит Шелковое. — Пер.] на Ломжинской земле после отступления Красной армии и вступления немецких войск здешняя еврейская община была уничтожена местным польским населением. То же самое произошло еще в нескольких местностях, расположенных поблизости. Эти преступления до недавнего времени приписывали немцам. Только в 2000 г. Ян Томаш Гросс в книге «Соседи» раскрыл подлинную картину злодеяния в Едвабне, используя свидетельства очевидцев. Книга Гросса потрясла польскую общественность. Вот уже больше года эта тема занимает одно из главных мест в печати, радио, телевидении, Интернете. Высказываются политические и государственные мужи, иерархи католической Церкви, ученые, публицисты, читатели газет, интернетчики. Книга Гросса целиком доступна в Интернете, а ее сжатое изложение напечатано как приложение к газете «Жечпосполита». Злодеяние в Едвабне и участие в нем поляков стали предметом опросов общественного мнения, польских и международных конференций, а также расследования, проводимого следственным отделом Института национальной памяти. Фрагменты опубликованных в печати текстов и составленный нами календарь событий отражают главные линии дискуссий, полемики и споров по вопросу, который беспрецедентным образом взволновал почти все польское общество.

## По страницам польской печати

**Яцек Жаковский, журналист:**

Все читатели «Соседей» Яна Томаша Гросса, с которыми я разговаривал, ходят как больные. Книга — слишком жестокая и слишком эмоциональная, звучащее в ней обвинение слишком тяжело, чтобы можно было прочитать ее и жить как прежде. Хотя это нелегко, но мы должны ввести Едвабне в польское самосознание.

*(«Газета wyborча», 2000, 18–19 ноября)*

**Проф. Томаш Шарота, историк:**

Основные факты выглядят бесспорно. В июле 1941 г. большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении почти всех тамошних евреев, которые, кстати, составляли подавляющее большинство жителей местечка. Сначала их убивали по одиночке — палками, камнями, — мучили, отрубали головы, оскверняли трупы. Потом, 10 июля, около полутора тысяч оставшихся в живых едвабненских евреев были загнаны в овин и сожжены живьем. Гросс описал это на основе существующих свидетельств, используя, в частности, собрание документов [варшавского] Еврейского исторического института — главным образом показания Шмуля Вассерштайна, — а также воспоминания других лиц, в том числе известные из опубликованной в 1980 г. в США книги «Yedwabne: History and Memorial Book», и показания обвиняемых на судебном процессе 1949 года.

...мы не отдавали себе отчета в том, что в числе тех, кто участвовал в геноциде евреев, были и поляки. А в Едвабне они в этом участвовали. Притом не какие-то отдельные извращенцы, которые найдутся в любом обществе, а толпа во главе с городскими властями. Гросс своими публикациями заставил нас изменить взгляд на поведение поляков во время II Мировой войны, и это его несомненная заслуга. Но у меня тоже создается впечатление, что он писал «Соседей» слишком поспешно и расследовал дело Едвабне слишком поверхностно, чтобы можно было понять, что же там на самом деле произошло.

*(«Газета wyborча», 2000, 18-19 ноября)*

**Проф. Томаш Шарота, историк:**

...то, что в Польше могут публиковаться работы Яна Томаша Гросса, Хельги Гирш да и Томаша Шароты, свидетельствует не только о том, что у нас свобода слова, ибо более чем явно, что до 1989 г. ни одна из этих книг появиться не могла. Эти публикации доказывают еще что-то, куда более важное. А именно: что мы на верном пути, что мы перестаем быть народом, с одной стороны, одержимым манией величия, а с другой — закомплексованным, и становимся нормальным народом, сознающим свои заслуги и достоинства, но также пороки и грехи. То, что мы можем смело говорить о неприятных, горьких, трагических моментах нашей истории, что отваживаемся посмотреть истории прямо в глаза, свидетельствует именно об этом.

*(«Жечпосполита», 2000, 9-10 декабря)*

**Проф. Яцек Курчевский, социолог:**

В этой страшной истории есть один невиновный. Это польское государство. (...) На счету Речи Посполитой — усмирение украинских и белорусских, а также и польских деревень, но на его совести нет геноцида, организации погромов или лагерей массового уничтожения.

Профессор Гросс спрашивает, какую надпись следует поместить на памятнике в Едвабне. Для меня нет сомнений: ПОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО — ПАМЯТИ СВОИХ ГРАЖДАН-ЕВРЕЕВ, УБИЕННЫХ СОСЕДЯМИ В БРАТОУБИЙСТВЕННОМ БЕЗУМИИ.

(«Впрост», 2000, 10 декабря)

**Ян Новак-Езёранский**, бывший директор польской редакции радио «Свободная Европа»:

Ни одному народу не бывает легко признаться в поступках, которые покрывают его позором. Мы, и это вполне по-человечески, склонны помнить нанесенные нам обиды и не хотим помнить зла, которое причинили другим. Инстинкт самозащиты велит нам подвергать сомнению даже бесспорно доказанные факты, искать смягчающие обстоятельства, очищать собственную совесть, перекладывая вину на других. (...)

Если мы разделяем национальную гордость, вытекающую из наших побед, славных поступков и огромного вклада польских творцов в сокровищницу общечеловеческих ценностей, то должны найти силы и на то, чтобы испытать национальный стыд за позорные поступки. Как народ в подавляющем большинстве христианский, мы должны ударить себя в грудь, признаться в совершенных грехах и в том, что польские каины нарушили заповедь «не убий». Если мы ждем от других удовлетворения за преступления против Польши и поляков, то должны проявить готовность дать удовлетворение за зло, причиненное нами ближним. (...)

Многие годы мы протестовали против той лжи, которую содержала советская надпись над братскими могилами в Катынском лесу: согласно ей, на этом месте немецко-фашистские захватчики уничтожили в 1941 году польских военнопленных. На двух памятниках в Едвабне написана аналогичная ложь. (...) Если мы требовали от России признаться в катынском преступлении и указать преступников и обстоятельства массового убийства безоружных польских военнопленных в Катынском лесу и других местах, то мы не можем выдвигать претензии к автору книги «Соседи», который извлек из забвения и с документами в руках

расследовал массовое убийство, совершенное поляками в Едвабне, о котором мы предпочли бы не знать и не помнить.

(«Жечпосполита», 2001, 26 января)

**Проф. Томаш Стшембош**, историк:

Прежде чем оценивать позиции и поведение различных социальных и национальных групп на территориях, занятых Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА), следует вспомнить основополагающие факты, ибо, не зная тогдашней действительности, нельзя понять людей, живших там постоянно или занесенных туда военной бурей. (...)

Польское население, за исключением небольшой группы коммунистов в городах и еще меньшей — в деревне, приняло нападение СССР и создаваемую здесь советскую систему так же, как и немецкое нападение. (...)

Еврейское же население, особенно молодежь, массово приветствовало вторгающуюся армию и введение новых порядков, в том числе и с оружием в руках. (...)

Второй вопрос — это сотрудничество с органами репрессии, прежде всего с НКВД. Сначала этим занимались всяческие «милиции», «красные гвардии» и «революционные комитеты», позднее — «рабочая гвардия» и «гражданская милиция». В городах они почти полностью состояли из польских евреев. Позже, когда РКМ [«рабоче-крестьянская милиция»] взяла положение в руки, евреи все еще были представлены в ней чрезмерно. Польские евреи в гражданской одежде, с красными нарукавными повязками, вооруженные винтовками, широко принимали участие также в арестах и депортациях. Это было страшнее всего, но польскому обществу бросалось в глаза и чрезмерное число евреев во всех советских учреждениях. Тем более что до войны тут доминировали поляки!

(«Жечпосполита», 2001, 27-28 января)

**Павел Махцевич**, директор отдела общественного просвещения Института национальной памяти:

До 1989 г. у нас не было свободы научных исследований, а коммунистические власти были заинтересованы в замалчивании щекотливых вопросов. Зато я согласен с проф. Гроссом: крупная недоработка польских историков состоит в том, что после 1989 г. они, во-первых, об этом не писали, а во-вторых, даже если писали, как Анджей Жбиковский, то не

сумели добиться внимания общественности. «Книга памяти» Едвабне издана в 1980 г. в США. Еще раньше, в начале 50 х, вышла «Книга памяти» Граева. Но сведения о массовых убийствах не доходили даже до еврейских историков.

Проф. Гутман в интервью «Газете выборчей» сказал, что известие о Едвабне его как обухом по голове ударило. Мне кажется, что мы все были не готовы к такому факту, который серьезно меняет нашу картину польско-еврейских отношений времен оккупации. Если общественная атмосфера не позволит принять те или иные тезисы, то дискуссии об этом не будет. Расчеты с собственным прошлым, и не только в Польше, идут весьма извилистыми путями. В Германии большая дискуссия о нацистских преступлениях началась лишь в 60 е годы, а во Франция дискуссия о режиме Виши — еще позже, в 80 е. Так что поляки в своем отношении к прошлому — не исключение.

(«Жечпосполита», 2001, 3-4 марта)

**Проф. Ян Томаш Гросс**, политолог, историк, социолог, автор книги «Соседи. История уничтожения еврейского местечка»:

Едвабне и Радзивиллов — явление, выходящее далеко за пределы того, что происходило в других местах на той же территории. Это создает какую-то трагическую чистоту ситуации, в которой происходило уничтожение евреев в этих местечках их польскими соседями, такое жестокое и окончательное. Это событие, по моему убеждению, открывает совершенно новую историографию периода оккупации.

Если говорить о польско-еврейских отношениях, то нам здесь многое предстоит сделать. Поляки, сами будучи жертвами немецкой оккупации, отнеслись к еврейскому населению равнодушно, не проявили сострадания. Евреи были в последнем круге ада, и эта ситуация использовалась. Я очень рад, что г н Махцевич, который будет заниматься просвещением и отвечает за это в Институте национальной памяти, обещает, что эти вопросы будут изучены и что мы обо всем узнаем. Надеюсь, что так и будет. Ибо мы так и не надели траура по нашим согражданам-евреям. Мы не пережили и не оплакали еврейскую Катастрофу, произошедшую во время войны. Хотелось бы мне верить, что дело Едвабне, будучи неслыханно трагическим, позволит двинуться в этом направлении.

(«Жечпосполита», 2001, 3-4 марта)



**Марек Юрек**, бывший депутат Сейма от Национально-Христианского Объединения:

Александр Квасневский в интервью израильской газете «Едиот ахронот» заявил, что попросит прощения от имени поляков за убийство в Едвабне.

Президент мог, например, сказать, что приложит все старания, чтобы виновники преступления были обнаружены и осуждены; что польская общественность узнает о преступлениях, совершенных поляками, чтобы они стали для нас уроком и предостережением. Он мог также сказать, что вся Польша едина в боли и сострадании к жертвам убийства и смиренно принимает обиду евреев, братьев жертв по национальности и вероисповеданию, на нашу страну и наших соотечественников, которые принимали участие в преступлении. (...) Квасневский выбрал иное решение: он заявил, что поляки обязаны просить прощения, признав тем самым захваченную, униженную и убиваемую Польшу виновницей преступления. Из народа жертв Польша должна превратиться в народ убийц. (...)

Мир так устроен, что трагедию Едвабне положено приписать Польше. Ибо, к сожалению, массовое уничтожение еврейской общины этого города должно стать не столько уроком для поколений, сколько еще одной возможностью унижить нашу страну. (...)

Наступающие месяцы следует пережить с христианским достоинством. Смирненно принимая правду о том, что произошло на нашей завоеванной земле, с участием наших соотечественников. (...) И одновременно следует спокойно защищать Польшу, воздавать честь ее величю, жертвам и самоотречению — ради нашего сыновнего долга, ради элементарной справедливости, ради истины, которая нужна миру.

*(«Наш дзенник», 2001, 8 марта)*

**Раввин Яков Бейкер:**

Я родился в Едвабне в 1914 г. и провел там первые двадцать лет своей жизни. Мой отец в компании с двумя свояками держал ветряную мельницу. Правда, он был раввином и учил детей, но на это было не прожить. Поэтому он работал на мельнице. Отец умер, когда мне было шесть лет. Мы с мамой и двумя старшими братьями продолжали помогать дядьям на мельнице. Работали мы тяжело, работали и в поле, и наши соседи-поляки это видели. За это они нас уважали. Мы жили с ними в согласии и

дружбе, по-соседски. Даже Юрек Лауданский, которого профессор Гросс в «Соседях» называет в числе главных убийц, молодым парнем был очень славный. Я его хорошо помню, мы жили поблизости друг от друга и часто разговаривали о религии, потому что он хотел стать ксендзом, а я изучал в Лодзи Талмуд.

Я мог бы привести множество примеров того, в каком согласии жили евреи и поляки в Едвабне. Мы доверяли друг другу. Наша мельница стояла за городом, чтобы крылья лучше ловили ветер. Когда были еврейские праздники и мы шли надолго в синагогу — кому мы оставляли наших детей? Соседям-полякам, и они занимались ими как своими. Это, пожалуй, лучший пример. (...)

Я тогда был уже взрослым и видел, как с середины 30 х нарастала враждебность поляков к евреям. Началось пикетирование еврейских лавок, ограничения на ритуальный убий, «скамеечное гетто» [дискриминация студентов из национальных меньшинств, которым в аудиториях отводились особые места]. И в Едвабне штурмовые группы национал-демократической молодежи стояли с металлическими штырями у еврейских лавок, чтобы поляки ничего там не покупали. Начались нападения на евреев, случались и убийства. Помню по крайней мере двое похорон евреев, убитых польскими хулиганами. Мы жили во все большем страхе. Печально говорить это, ибо Польша — моя родина, а мои дети и сейчас поют польские песни. Но под конец 30 х едва ли не все евреи уже хотели покинуть Едвабне, бежать из Польши. От страха перед преследованиями и приближающейся войной. Я уехал в феврале 1938 г. в Америку: там уже был мой брат Йегуда. Американцы спросили меня на границе, что значит моя фамилия, которую они с трудом выговаривали. Я сказал, что «пекарь», по-английски «baker». Так и записали мне в документах фамилию Бейкер. (...)

Вас, может быть, удивит, но евреи благодарны Польше за то, что тысячу лет она была их домом, дала им убежище, здесь прекраснее всего расцвела наша культура. Что за прекрасная страна Польша! Какая прекрасная природа! Помню Едвабне — какое это было прекрасное место! Я мог бы сказать: к черту их, этих поляков, пропади они пропадом. Но, пожалуйста, поверьте мне: я так не чувствую, евреи так не чувствуют. Мы не думаем о мести — только Бог имеет право на отмщение. Мы хотели бы только, чтобы убийцы, если кто-то из них еще жив, были наказаны. Они — да, ибо заслужили наказание. Но обычные

поляки, обычные жители Едвабне? Они были порядочные, мы были добрыми соседями, друзьями. (...)

Самое главное, что прервано молчание. Что правду о Едвабне начали говорить, ибо больше ждать нельзя было. Из тех, кто родился в Едвабне, уцелела горстка. Но есть родные едвабненских евреев — тысячи, может, даже десятки тысяч. Прежде всего им нужна правда. Но она нужна и всем евреям, и всем полякам. Ибо только на основе правды можно снова строить дружбу между нами. Поляки как народ — не злые люди. Если бы не Гитлер, Сталин да еще несколько злых людей, между нами не было бы никаких проблем.

Я рос с поляками, у меня были польские друзья, мы были как одна семья. Помню, как уважали нашего раввина в Едвабне — Авиغدора Белостоцкого. Польские ксендзы с ним дружили, ходили с ним на прогулки, спорили о религии. Я верю, что хоть уж нет евреев в Польше, а об этой нашей дружбе забывать нельзя. Ее надо, проявляя добрую волю с обеих сторон, сохранять и укреплять. Я убежден, что, даже учитывая то, что произошло в Едвабне, это возможно.

*(«Жечпосполита», 2001, 10–11 марта)*

**Ян Новак-Езёранский**, бывший директор польской редакции радио «Свободная Европа»:

Если мы будем оправдывать преступление, приуменьшать его, перекладывать вину на жертв, тогда весь народ может стать в глазах мира соучастником преступления. Осуждение его самой Польшей должно опередить реакцию мировой общественности.

*(«Газета wyborча», 2001, 12 марта)*

**Из открытого письма всепольского правления «Союза левых демократических сил» членам и сторонникам СЛДС «О Едвабне»:**

60 лет тому назад в Едвабне почти все еврейское население местечка погибло от руки своих польских соседей. Это преступление не было совершено от имени польского народа, но сознание преступления по прошествии свыше полувека молчания возвращается сегодня с умноженной силой. (...) Народ, который хочет черпать силу из лучших страниц своей истории, должен также иметь отвагу стать лицом к лицу со своими слабостями. Мы сильный народ, занимающий важное место в Европе, поэтому мы не можем скрывать наши ошибки или трусливо искать для них отговорки.

Убийство в Едвабне — причина нашей боли и стыда. Для преступления и подлости нет и не может быть ни оправдания, ни объяснения. (...) Мы как народ несем ответственность за то, как отнесемся к своей истории и какие извлечем из нее выводы на будущее.

С проявлениями ненависти, нетерпимости и презрения к людям иных рас, религий или взглядов мы, к сожалению, встречаемся и в сегодняшней Польше. Из драмы Едвабне должны последовать урок и предостережение нынешним поколениям. (...)

Мы не можем проходить мимо унижаемых и дискриминируемых.

Мы не можем молчать, когда раздаются слова, сеющие ненависть.

Мы не можем позволить, чтобы молодые поколения поляков воспитывались в презрении к другим народам. (...)

Поэтому «Союз левых демократических сил» поддерживает инициативу создания музея-памятника истории польских евреев как свидетельства присутствия евреев в польской истории и на польских землях.

СЛДС ожидает от органов самоуправления всех уровней особой заботы о местах общей польско-еврейской истории.

*(«Газета wyborча», 2001, 16 марта)*

**Адам Михник**, главный редактор «Газеты wyborчей»:

Польская дискуссия о Едвабне идет уже несколько месяцев. Она характеризуется серьезностью, пронизательностью, печалью, а иногда и ужасом, словно всему обществу внезапно велели нести бремя странного преступления, совершенного 60 лет назад. Словно всем полякам велели коллективно исповедовать вину и просить прощения.

Я не верю в коллективную вину и ни в какой иной тип коллективной ответственности, кроме ответственности нравственной. Поэтому я задумываюсь над тем, в чем состоит моя личная ответственность и моя собственная вина. Я заведомо не могу отвечать за ту толпу преступников, которая подпала в Едвабне. Точно так же и сегодняшних жителей Едвабне нельзя винить в этом преступлении. Когда я слышу призыв исповедать свою, польскую вину, я чувствую себя травмированным так же, как и сегодняшние жители

Едвабне, на которых налетели журналисты со всего мира. Однако когда я слышу, что книга Гросса, которая раскрывает правду об этом преступлении, есть ложь, вымышленная международным еврейским заговором против Польши, тогда во мне растет чувство вины. Эти лживые сегодняшние увертки фактически направлены на оправдание того преступления. (...)

Когда я пишу эти слова, я испытываю своего рода шизофрению: я поляк, и мой стыд за убийство в Едвабне — это польский стыд, а в то же время я знаю, что если бы тогда оказался в Едвабне, то меня убили бы как еврея.

Кто же я, когда пишу эти слова? Скажу так: благодаря природе я человек и отвечаю перед другими людьми за то, что я сделал, и за то, чего не сделал; по выбору я поляк и отвечаю перед миром за то зло, которое причинили мои соотечественники. Я делаю это не по принуждению, а по собственному выбору и велению совести. Но, когда я пишу эти слова, я одновременно и еврей, испытывающий глубокое братство с теми, кого убивали за то, что они евреи. И, глядя с этой точки зрения, я должен сказать, что тот, кто пытается абстрагировать преступление в Едвабне, изъяв его из контекста эпохи, тот, кто пытается на основе этого преступления делать обобщения и утверждать, что так себя вели только поляки и все поляки, — тот произносит ложь столь же отвратительную, как и многолетняя ложь о преступлении в Едвабне.

*(«Газета wyborча», 2001, 17–18 марта)*

**Вальдемар Кучинский**, советник премьер-министра:

Это преступление грузом лежит на нас. Не будем впадать в иллюзию, что мы от него избавимся, сбрасывая его с себя, умножая увертки и оправдания. В овине не убивали конкретного еврея с конкретной целью, не совершали уголовное преступление, вина за которое лежит только на преступнике или группе преступников. Не какие-то хулиганы, а частица польского народа сожгла в этом овине частицу еврейского народа. Поэтому до тех пор, пока мы будем считать себя народом, т.е. общностью вчерашних, сегодняшних и будущих поколений, на нас будет тяготеть груз этого деяния, совершенного людьми поколения, которого в большинстве уже нет в живых. Мы не несем ответственности за это преступление как личности, но несем — как принадлежащие к народу. Это не коллективная ответственность — понятие неприменимое, — но национальная ответственность, которой нельзя избежать и не следует избегать. Здесь действует тот самый нравственный закон, который позволяет считать

нашими великие деяния предков, гордиться ими и столь же справедливо утверждать, что те, кто спасал и спас часть еврейского народа, — это часть польского народа. Даже там, недалеко от этого овина, было какое-то укрытие, где пани Антонина Выжиковская до конца войны прятала семерых евреев, избежавших руки «наших». Это укрытие — место национальной гордости, а тот близкий овин — место позора. Национального!

Таким образом, мы не можем сбросить с себя и своей совести груз того горевшего 60 лет назад овина и того «крика, который был слышен за два километра». Он и сейчас горит, и крик слышен по-прежнему. И так долго будет гореть овин, так долго будет слышен крик, как долго мы будем отталкивать от себя груз этого нашего геноцида. Чтобы получить возможность снять его с себя и чтобы он был с нас снят, мы должны принять его. Мы должны взглядом освобожденного воображения пройти этот путь более чем полувековой давности до самой середины жара, и, если у нас потекут слезы по тем, кто там погиб, тогда мы обретем надежду на то, что из национальной ткани исчезнет антисемитский яд, который стольких из нас отравляет по сей день. Впервые в жизни у меня подкатили слезы, когда я писал этот текст и видел, как горят живые люди. И только это я могу сделать, чтобы угасить жар того горящего овина и успокоить крик гибнущих в нем.

*(«Впрост», 2001, 25 марта)*

**Марек Эдельман**, последний оставшийся в живых член штаба восстания в варшавском гетто:

Недавно после дискуссии о Едвабне подошла ко мне 19 летняя девушка, студентка истории в университете, и говорит: «Пан Марек, а я всю жизнь в подполье. Я еще сидела в песочнице, когда папа мне говорил: — Не признавайся, что ты из Едвабне. Никому не говори».

Полька из Едвабне, которая всю жизнь скрывается.

*(«Тыгодник повшехный», 2001, 25 марта)*

**Архиепископ Генрик Мушинский**, митрополит Гнезненский:

В сознании поляков, как и в сознании евреев, был и остается глубоко укорененным тот факт, что мы — жертвы гитлеровского нацизма. Я могу говорить от имени поколения, которое пережило войну. В период гитлеровской оккупации все делились на две главные категории: палачей и жертв. И мы, и

евреи были жертвами. Но тут сразу надо сказать: не в одинаковой степени и не одним и тем же образом. Еврей носил на себе печать смертного приговора и должен был погибнуть, поляк мог выжить как «унтерменш». Тем не менее, когда евреи подчеркивают исключительность или прямо уникальность Катастрофы, поляки чувствуют себя задетыми: им трудно смириться с тем, что евреи страдали больше всех, и понять, чем, например, отличается убийство целой еврейской семьи от убийства целой польской семьи за укрывание евреев, оба совершенные одними и теми же преступниками как составная часть одного и того же преступного зла. Так рождается антагонизм страдания. (...)

Нацизм был в большой степени созданием немецкого народа и государственной идеологией. Убийство в Едвабне было совершено поляками, но не именем польского народа. (...)

И второй вопрос: польские епископы некогда сказали немцам: «Прощаем и просим прощения». Мы не можем сказать того же евреям: это значило бы, что мы ставим их наравне с нацистами. Здесь мы можем сказать только одно: «Просим прощения». (...)

Раввин Шудрих в каком-то смысле пошел нам навстречу, показав абсолютную необходимость найти слова для просьбы о прощении. Она остается жгуче актуальной, пока еще живы некоторые жертвы либо родные жертв того преступления. (...)

Разумеется, нелегко признаться в соучастии в таком чудовищном преступлении. Может быть, стыд и боль, которые мы сегодня испытываем как поляки, — это какая-то форма самоочищения и искупления. Это, конечно, требует отваги. (...)

Епископат Польши еще в 1990 г. заявил, что, если бы убивал хоть один поляк, это уже причина просить прощения. (...)

Слова раввина Шудриха могут составить перелом на пути к полной нравственной и даже исторической правде, а значит, и к очищению правдой. Очищение от взаимных обвинений, взаимных предрассудков, ото лжи может стать началом пути к примирению. Однако первый и необходимый шаг на этом пути — просьба простить. Хотя это нравственный, внутренний акт, но он имеет огромное значение в контактах евреев с поляками. Преступление в Едвабне, как и всякое другое преступление, разделяет людей. Никто не в состоянии вернуть жизнь невинно убиенным, но нравственный акт раскаяния сближает и может стать решающим моментом на пути к примирению

(«Тыгодник повшехный», 2001, 25 марта)

**Свящ. Адам Бонецкий**, главный редактор «Тыгодника повшехного»:

Едвабне напомнило, что поляки (какие-то поляки, ибо никто не утверждает, что большинство, или народ, или подпольное государство) тоже оказались среди палачей. Говоря о Едвабне, говорят не о местечке на Подлесье, но об «автопортрете» поляков. Оказывается, этот автопортрет, мифический, прекрасный, чистый и безупречный, не вполне правдив. Едвабне напомнило о том, что знал, пожалуй, каждый, кто прожил больше 50 лет, и не только из литературы или документов, но и из своих воспоминаний или услышанных своими ушами рассказов очевидцев: что поляки творили такие вещи, притом отнюдь не под прицелом немецких винтовок.

(«Тыгодник повшехный», 2001, 8 апреля)

**Проф. Ханна Свида-Земба**, социолог:

Знание о том, что произошло в Едвабне, склоняет не только к пересмотру польской истории, но прежде всего к пересмотру более общих стереотипов, которые и я до сих пор считала истинными. По всеобщему убеждению, между антисемитизмом — даже если он приобретает такие крайние формы, как в довоенной Польше, — и преступлением лежит пропасть. Прочитав книгу Гросса, я уже знаю, что это не так, и благодарна за это автору. (...)

Я поняла, что предубеждение отделяет от преступления только тонкий лед, который в любой момент может надломиться. В полных ненависти предубеждениях таится взрывчатка преступления. Она может так и не взорваться, если обстоятельства сложатся счастливо. Но это зависит от дополнительных факторов, которые каждый раз меняются.

(«Газета выборча», 2001, 7-8 апреля)

**Станислав Михаловский**, председатель Едвабненского городского совета:

Я был свидетелем того, как пятилетний ребенок, слушая разговоры взрослых, спросил: «Слушай, дедушка, кто же убивал этих евреев — ты, твой папа или мой папа?» Когда слышишь такие вопросы, нельзя сделать вид, что их не было. Разве что человек совершенно толстокожий. Большинство из нас по-своему глубоко все это переживает.



(«Вензь», 2001, апрель)

**Александр Квасневский**, президент Польской Республики:

Если мы хотим из Едвабне, еще раз подчеркиваю, выйти лучше, сильнее и мудрее, чем были, мы должны сказать всю правду о тех событиях. Но сказать правду не означает распространять вину на весь народ или на польское государство. Среди поляков были такие, кто помогал евреям и спасал им жизнь. Были и такие, кто выдавал и, увы — такое тоже бывало, — убивал евреев. Было и так, и этак. Среди выводов из дела Едвабне: невозможно и, более того, не нужно подбивать итог героизма и подлости — они, к сожалению, не исключают друг друга. В Польше было великое благородство и был великий позор. Это нужно признать и об этой сложности сказать.

Самое главное — то, что в отношении к преступлению в Едвабне мы должны занять позиции, основанные на истине. Нужно сказать откровенно: при всех обстоятельствах это жестокое убийство в Едвабне совершили поляки, наши соотечественники. Поэтому следует сделать то, что в таких ситуациях делается: прощать и просить прощения. Однако добавить: мы верим, что отвращение к преступлению не распространится на всех поляков, и надеемся, что на этой истине можно будет строить мосты примирения между поляками и евреями. И, опираясь на нее, менять также наше собственное поведение, положить конец всякой нетерпимости, антисемитизму, любым предубеждениям.

Как много я отдал бы за то, чтобы оказалось, что убийство в Едвабне — кошмарный сон и неправда. Увы, Едвабне — это факт. (...) Я знаю, что любой поступок президента или премьер-министра всегда будет оцениваться с политической точки зрения. Таков уж наш профессиональный риск. Но сколько раз именно отважные и искренние жесты политиков помогали преодолевать всяческие барьеры! Такую роль исполнили земной поклон Вилли Брандта перед памятником Героям гетто в Варшаве или просьба президента Ельцина о прощении под катынским крестом на кладбище Повонзки: у него тогда стояли слезы в глазах, настоящие слезы. Это были не только политические, но и общественные события. Они изменили сознание, политическую культуру стран, возглавляемых этими политиками. (...) В 2000 г. Иоанн Павел II принес прощение за грехи католической Церкви, в том числе и по отношению к евреям. Вспомним хотя бы его — столь же универсальное, сколь и личное — выступление в институте «Яд-Вашем».

Едвабне следует считать элементом такого перелома в начале нового тысячелетия. Попытка избежать этой дискуссии ни к чему не приведет. Уже нельзя остановиться на пути в Едвабне. Туда надо пойти. В том числе и 10 июля. (...)

Поляки, споря о том, просить или не просить прощения за Едвабне, должны задуматься: а было бы им все равно, если бы Ельцин не нашел в себе сил и не попросил прощения за Катынь? Или если бы канцлеры ФРГ: Брандт в Варшаве, Коль в Кшижовой, [президент] Герцог в 50 ю годовщину Варшавского восстания, а самым последним Шрёдер — смолчали и не склонили головы перед польскими жертвами войны? Или мы сочтем все это лишь пустыми рутинными жестами? Нет! (...)

Для русских сказанное Ельциным «Простите» за Катынь было, должно быть, страшным потрясением. Они были воспитаны в уверенности, что 600 тысяч их соотечественников пали, сражаясь за освобождение поляков от немецко-фашистских захватчиков. У них были свои могилы и почитание погибших героев. С таким сознанием они хотели жить и дальше. И вот их президент говорит, что была еще и Катынь и что важно не только то, что по приказу Сталина польских офицеров расстреливали выстрелом в затылок, но и то, что расстреливали русские.

Можно спросить: зачем вообще возвращаться к этим темам? Столько лет уже прошло... Но ответ прост, и по делу Едвабне его уже неоднократно формулировали: мы должны возвращаться, ибо это часть нашей истории. Если мы хотим гордиться ее славными страницами, мы должны принять и нравственную ответственность за ее мрачные страницы. Раз это произошло в Польше, то, как бы нам ни было больно, мы должны об этом помнить — в частности, и заботясь о своем национальном самосознании.

*(«Тыгодник повшехный», 2001, 15 апреля)*

**Кардинал Юзеф Глемп, примас Польши:**

Если мы говорим о всей сложности этого убийства, то следует обратить внимание, что в нем как будто сплелись немцы, поляки, евреи и русские. Не станем исповедовать вину «вслепую», мы хотим видеть ее именно в этом широком контексте. То есть пребывать в истине. (...)

Мы хотим прежде всего просить прощения у Бога, но и у всех, кому причинено зло, за тех польских граждан, которые причинили зло гражданам иудейского вероисповедания. (...)

У меня до войны не было контактов с евреями: там, где я жил, их почти не было. Польско-еврейский антагонизм иногда встречался, но на экономическом фоне. Евреи были ловчее и умели эксплуатировать поляков — так, по крайней мере, их воспринимали. Другой причиной неприязни к евреям были их симпатии к большевикам. Это была одна из главных причин, но она не вытекала из религиозного контекста. Вероисповедание в довоенной Польше не играло особой роли в неприязни к евреям. Евреев не любили еще за их странный фольклор. (...)

Если же говорить о следствии, то я считаю, что надо было бы вскрыть ту братскую могилу, которая существует вблизи сожженного овина в Едвабне, и убедиться, сколько там убитых. Мы имеем на это полное право — это предусмотрено польским законом о кладбищах. Считаю, что отнюдь не бестактно поступать в соответствии с действующим законом. Это, однако, приостановлено по желанию еврейской стороны, хотя в Польше не действует иудейский закон. К человеческим останкам можно отнестись с уважением, перекладывая их и снова укладывая на то же место. Так было во многих местах, и при таких действиях не может быть и речи об осквернении могилы. (...)

Мне также остается непонятным, почему поляков постоянно оскорбляют, особенно в американской печати, и продолжают приписывать нам антисемитизм, будто бы не такой, как в других странах. Еврейская сторона все время выдвигает на первый план свою неприязнь к полякам. Не очень понимаю, каковы ее истоки. В сравнении с Европой у нас в Польше евреи жили сравнительно неплохо и чувствовали себя как дома. Почему же сегодня раздается столько несправедливых обвинений? (...)

Мы задумываемся: не должны ли евреи признать свою вину перед поляками, особенно за период сотрудничества с большевиками, за соучастие в депортациях, за отправку поляков в тюрьмы, за унижения многих своих сограждан и т.п. (...)

Я думаю, что президент Квасневский не имеет формальных оснований просить прощения от имени народа, но предпочел бы этого не комментировать.

*(«Наш дзенник», 2001, 15 мая)*

**Валерий Амьель**, бывший член правлений Всемирного банка и Международного валютного фонда:

Церемония в Едвабне нужна не евреям. Кадиш, молитву за умерших, они могут прочитать сами, потихоньку. Поэтому инициатива и участие глав государства и правительства в церемонии 10 июля — великое дело. Однако известно, что душами в Польше правит Церковь, формируя мнение широких масс, поэтому отсутствие главы польской Церкви в Едвабне будет значить для этих масс лишь одно: ко всему этому принудили евреи, а примас сумел устоять. Ошибаюсь ли я? Наверняка нет. Заметит ли это заграница? Наверняка да. Будет ли это иметь положительный отголосок? Сомневаюсь. А кого тогда в Польше в этом обвинят? Известно кого.

(«Впрост», 2001, 20 мая)

**Мартин Свенцицкий**, бывший президент (мэр) Варшавы:

Президент попросит прощения за преступление против евреев, совершенное в Едвабне польскими руками. Должны ли евреи просить прощения у поляков за ГБ и преступления коммунизма в Польше? Такое мнение время от времени высказывается даже в серьезных дискуссиях. Известно, что в верхних эшелонах сталинского аппарата террора доля лиц еврейского происхождения была довольно значительной. Но там же работало и немало поляков без всяких еврейских корней. Однако суть дела не в пропорциях и не в причинах этих пропорций. Нет зеркального соответствия между преступниками и жертвами преступления в Едвабне, с одной стороны, и преступниками и жертвами сталинских преступлений — с другой. В Едвабне каждого загоняли в овин только за его происхождение. Этого было достаточно. В тюрьмы ПНР поляки попадали не за то, что были поляками-арийцами, а за то, что были действительными или хотя бы потенциальными противниками режима, например солдатами Армии Крайовой.

Мы не ждем, что в связи с этим представители еврейских кругов принесут нам извинения, так же, как народы бывшего СССР не ждут от нас извинений за Феликса Дзержинского, поляка и бывшего католика. Преступления госбезопасности и коммунизма осудили и прощения за них попросили наследники коммунизма. (...)

Таким образом, нет смысла раввину просить прощения за преступления ПНР. Это было бы тем более непонятно, что, когда евреи становились коммунистами, раввины их проклинали. Католики не просят прощения за преступления своих бывших братьев по вере, отлученных от Церкви. Будем просить прощения за преступления тех, кто совершал их,

будучи членами нашей государственной, религиозной, национальной или идейной общины.

Просьба о прощении, содержащаяся в послании польских епископов немецким, поклон Вилли Брандта в Варшаве, просьба Ельцина простить за Катынь или просьба Иоанна Павла II простить грехи католиков вмещаются в рамки этого правила. Просьба раввина простить за сталинские преступления — отнюдь. Давайте не ждать покаяния за чужие грехи.

(«Жечпосполита», 2001, 20 мая)

**Свящ. Станислав Мусял**, иезуит, бывший секретарь комиссии епископата по делам диалога с иудаизмом:

Нехорошо, что 10 июля мы не встретимся все вместе в Едвабне, где 60 лет назад польские граждане совершили ужасающее преступление против польских граждан — поляки против евреев. Плохо, потому что и польское государство, и католическую Церковь в Польше связывает печальное братство вины перед евреями — как в Едвабне, так и на протяжении всей нашей истории. То, что епископат Польши не будет представлен 10 июля в Едвабне, не должно означать, что нам надо оставить там, над могилой убиенных, президента Польской Республики одного. Как раз наоборот. (...)

Жаль также, что не было принято предложение раввина Михаэля Шудриха, который пригласил на 10 июля к себе, в варшавскую синагогу, польских епископов. Эта встреча могла стать переломным событием в польско-еврейских и иудейско-христианских отношениях в нашей стране. (...)

Только сегодня мы отрабатываем запущенное — притом принужденные книгой проф. Яна Гросса, — что нам, католикам, не приносит особой славы, ибо в признании своих грехов мы должны быть первыми. (...)

Было бы нехорошо, если бы Церковь ограничилась лишь просьбой простить ее сынов и дочерей. Церковь в Польше должна просить прощения, притом особенно, и за свои собственные грехи, за грехи того института, которым она является. Не так обстоит дело, что истоки грехов сынов и дочерей Церкви лежали лишь в их непослушании церковному учительству. Многие из этих грехов, которые мы в целом определяем словом «антисемитизм», вытекали из верности тогдашнему церковному учению и общепринятым правилам поведения, против которых Церковь не протестовала, хотя многие из них были крайне аморальны. (...)

Если говорить о самой трагедии 1941 г. в Едвабне, то она показала полное фиаско церковного пастырства. И не только потому, что католики повели себя так, как они себя повели, но и пастыри — как на приходском, так и на епархиальном уровне — совершенно не выдержали испытания. А ведь после убийств, совершенных в Радзивилове, было известно, что готовится в Едвабне. И ничего не было сделано, чтобы упредить трагедию. (...) То, что из приходской хроники вырваны страницы за эти три дня, лучше всего свидетельствует о том, что нам нечем гордиться, если говорить о нашем, католиков, поведении тогда в Едвабне. (...)

Мне кажется, что дело Едвабне и все грехи против евреев, какие накопили католики в ходе истории, можно изложить на половине страницы школьной тетрадки. Попросту можно сказать: «Таковыми мы были. Нам нечего сказать в свое оправдание. Просим прощения у вас и у Бога за все это от всего сердца и от всей души. Мы хотим быть не такими. Просим вас: помогите нам быть лучше».

Вот и все. И много покаянных псалмов.

*(«Газета выборча», 2001, 21 мая)*

**Свящ. проф. Михал Чайковский**, сопредседатель Польского совета христиан и иудеев:

«Благодаря» Едвабне нам легче понять смысл слов Папы и его покаянного жеста перед евреями; да, и от нашего имени, за наши грехи (еще не зная про Едвабне) просил он прощения. Почему некоторым из нас так трудно включиться в папское покаяние, когда речь идет о польской действительности? Потому что речь идет о евреях, а не только о травмированной национальной гордости. Нам легче просить прощения у других народов. Я считаю, что в основе этого нежелания признать вину таится не до конца искорененный антисемитизм. Тот антисемитизм, который столько раз осуждал Иоанн Павел II и о котором Леон Блуа написал: «Антисемитизм — это самая болезненная пощечина, нанесенная Христу во время Его Страстей; самая болезненная, так как она направлена в лицо Его Матери, притом рукою христиан».

*(«Тыгодник повшехный», 2001, 27 мая)*

**Епископ Станислав Гондецкий** (во введении к покаянному молебну за убиенных в Едвабне и других местах, отслуженному епископатом Польши в варшавском костеле Вех Святых 27 мая):

Мы, пастыри Церкви в Польше, хотим стоять в правде перед Богом и людьми, особенно перед нашими еврейскими братьями и сестрами, с сожалением и покаянием вспоминая преступление, которое случилось в июле 1941 г. в Едвабне и других местах. Жертвами его стали евреи, а среди преступников были также поляки и католики, люди крещеные. (...)

Мы глубоко страдаем, думая о поведении тех, кто на протяжении истории — особенно в Едвабне и других местах — принес евреям страдания и даже смерть. Мы вспоминаем это преступление также для того, чтобы люди могли плодотворно взять на себя ответственность за преодоление всякого зла, проявляющегося сегодня. Труд по «очищению памяти» становится для нас трудной задачей «очищения совести». Мы беремся за эту задачу и еще раз осуждаем все проявления нетерпимости, расизма и антисемитизма, о которых известно, что они грешны. (...)

Стремясь к примирению с Богом и людьми, мы жаждем с еще большей верой и доверием начать новый век и новое тысячелетие. Чтобы никогда не повторились ни Катынь и Освенцим, ни Колыма и лагеря уничтожения, ни Едвабне.

*(«Тыгодник повсехный», 2001, 3 июня)*

**Свящ. Войцех Леманский**, приходский настоятель из Отвоцка (фрагмент интервью:)

— Гроб Господень [аналог православной Плащаницы, однако зачастую украшенный реквизитом, связанным со злободневными событиями] в вашем костеле тоже был связан со злодеянием в Едвабне. Христос лежал под обожженными досками овина. Но надпись была другая: «Простите!»

— Это был вырванный из тетради лист, на котором я написал это слово. Я сделал это под влиянием кинохроники об освящении военных кладбищ в Катыни. Я увидел русских, державших листы бумаги, на которых от руки было написано: «Поляки, простите» [по-русски в тексте]. Женщина-фоторепортер из «Вензи», которая уже после Пасхи пришла сделать снимки, посмотрела на Гроб и спросила: «Просите, пожалуйста, а где лежал Христос?..» Я ответил: «Он там и сейчас лежит, только Его почти не видно». Действительно трудно было увидеть Христа среди обожженных досок овина.

*(«Жечпосполита», 2001, 9-10 июня)*

**Проф. Леон Керес**, президент Института национальной памяти:

Мы ведем 800 расследований. Прибавьте тысячи дел, которых мы вообще еще не начали. Я мог поставить дело Едвабне куда-то в конец очереди, однако счел, что польско-еврейские отношения — такое жгучее дело, что Едвабне ждать не может.

Едвабне может оказаться нашим катарсисом. Это последний момент, чтобы очиститься: никогда уже не повторится в нашем обществе такое напряжение и такая готовность разобраться во всем происшедшем. Может быть, мы станем отважнее в своих самооценках.

Как раз сейчас, когда мы пробуем разрешить дело Едвабне, я вижу растущую силу польского государства в глазах международной общественности. Я был в США, Израиле, Германии, Литве — и все об этом говорят.

Участие поляков [в преступлении] несомненно. Я бы и хотел, чтоб там не было моих соотечественников, но с фактами не поспоришь. С другой стороны, там погибли граждане польского государства. Они тоже были поляками — иной веры, обычаев, традиций. Евреи из Едвабне были поляками, ибо, живя здесь как граждане Речи Посполитой, отдали себя под ее попку. Правда, 10 июля 1941 г. не было структур государства, которые могли бы защитить еврейских жителей местечка, но их вера в польское государство, которую они сами, может быть, осознавали не до конца, перенесена в наши дни. Это мой депозит. Мой долг — взять на себя задачи, которые были бы возложены на органы польского государства, если бы те тогда существовали. Если в Сенате мы приняли резолюцию о преемственности между Второй и Третьей Речью Посполитой, то сегодня у нас есть случай проверить, имеет ли она практическое значение.

Следствие по делу Едвабне — это туннель, по которому мы будем идти в аналогичных расследованиях. События, которые произошли в Нешаве, Александрове-Куявском, Явожне, Ламбиновицах, акция «Висла» [уничтожение остатков Украинской повстанческой армии, а зачастую и мирного украинского населения в первые послевоенные годы] (везде в преступлениях принимали участие поляки) — все это требует выяснения. И, похоже, эта необходимость находит одобрение в обществе. Одновременно подчеркиваю, что 90% ведущихся следственных дел относятся к преступлениям, совершенным против поляков.

(«Тыгодник повшехный», 2001, 17 июня)



Президент Польской Республики Александр Квасневский:

Это было преступление. Ничто его не оправдывает. Среди жертв, среди сожженных были женщины, были дети. Ужасающий крик людей, запертых в овине и сжигаемых живьем, по-прежнему поражает память очевидцев злодеяния. Жертвы были бессильны и беззащитны. Преступники испытывали чувство безнаказанности, так как немецкие оккупанты подстрекали к таким деяниям. Мы знаем с полной уверенностью, что среди гонителей и палачей были поляки. У нас не может быть сомнений: здесь, в Едвабне, граждане Польской Республики погибли от руки других граждан Польской Республики. Люди людям, соседи соседям уготовали эту судьбу.

Тогда, 60 лет назад, Польшу хотели стереть с карты Европы. В Едвабне не было польских властей. Польское государство было не в состоянии защитить своих граждан от убийства, совершенного с дозволения и по вдохновению гитлеровцев. Но Речь Посполитая должна продолжаться в польских сердцах и умах. И ее граждан обязывали, должны обязывать нормы цивилизованного государства, государства с вековыми традициями терпимости и жизни во взаимном согласии разных наций и религий. Те, кто принимал участие в облаве, бил, убивал, разжигал огонь, совершили преступление не только против своих соседей-евреев, но и против Речи Посполитой, против ее великой истории и прекрасных традиций. (...)

Благодаря всенародной дискуссии вокруг этого преступления 1941 года многое изменилось в нашей жизни в 2001 году, первом году нового тысячелетия. Сегодняшняя Польша нашла смелость поглядеть в глаза правде о кошмаре, который омрачил одну из глав ее истории. Мы осознали свою ответственность за наше отношение к мрачным страницам прошлого. Мы поняли, что дурную услугу оказывают народу те, кто уговаривает отпираться от прошлого. Это ведет к нравственной утрате себя самих.

Мы, собравшиеся здесь, вместе со всеми совестливыми людьми в нашей стране, вместе с мирскими и духовными нравственными авторитетами, укрепляющими в нас привязанность к основополагающим ценностям, чтя память убиенных и горя о подлости преступников, выражаем нашу решимость в стремлении познать истину, нашу отвагу в преодолении недоброго прошлого, нашу неколебимую готовность к примирению и согласию.

За это преступление мы должны молить прощения у теней умерших и у их родных. Поэтому сегодня я, как гражданин и как президент Польской Республики, прошу прощения. Прошу прощения от своего имени и от имени тех поляков, чью совесть терзает это преступление, от имени тех, кто считает, что нельзя гордиться величием польской истории, не испытывая одновременно боли и стыда за то зло, которое поляки причинили другим. (...)

Трагедию, которая здесь разыгралась, не отменить. Не замазать зла, не забыть страданий. Правда о том, что случилось, не исправит происшедшего. Такой силы у правды нет. Но только она, даже самая жгущая и болезненная, позволит очистить рану памяти. Такая у нас надежда. Для этого мы здесь. Мы произносим сегодня слова сожаления и горечи не только потому, что так велит обыкновенная человеческая порядочность. И не потому, что их ждут от нас другие, не потому, что они дадут удовлетворение памяти убиенных, не потому, что нас слушает мир. Мы произносим их, потому что мы так чувствуем. Потому что больше всего в них нуждаемся мы сами!

*(Из речи в Едвабне 10 июля 2001 г. во время траурной церемонии в 60 ю годовщину массового убийства еврейской общины местечка)*